



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.  
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

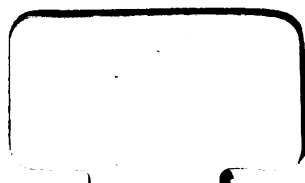
### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

UC-NRLF



\$B 143 003

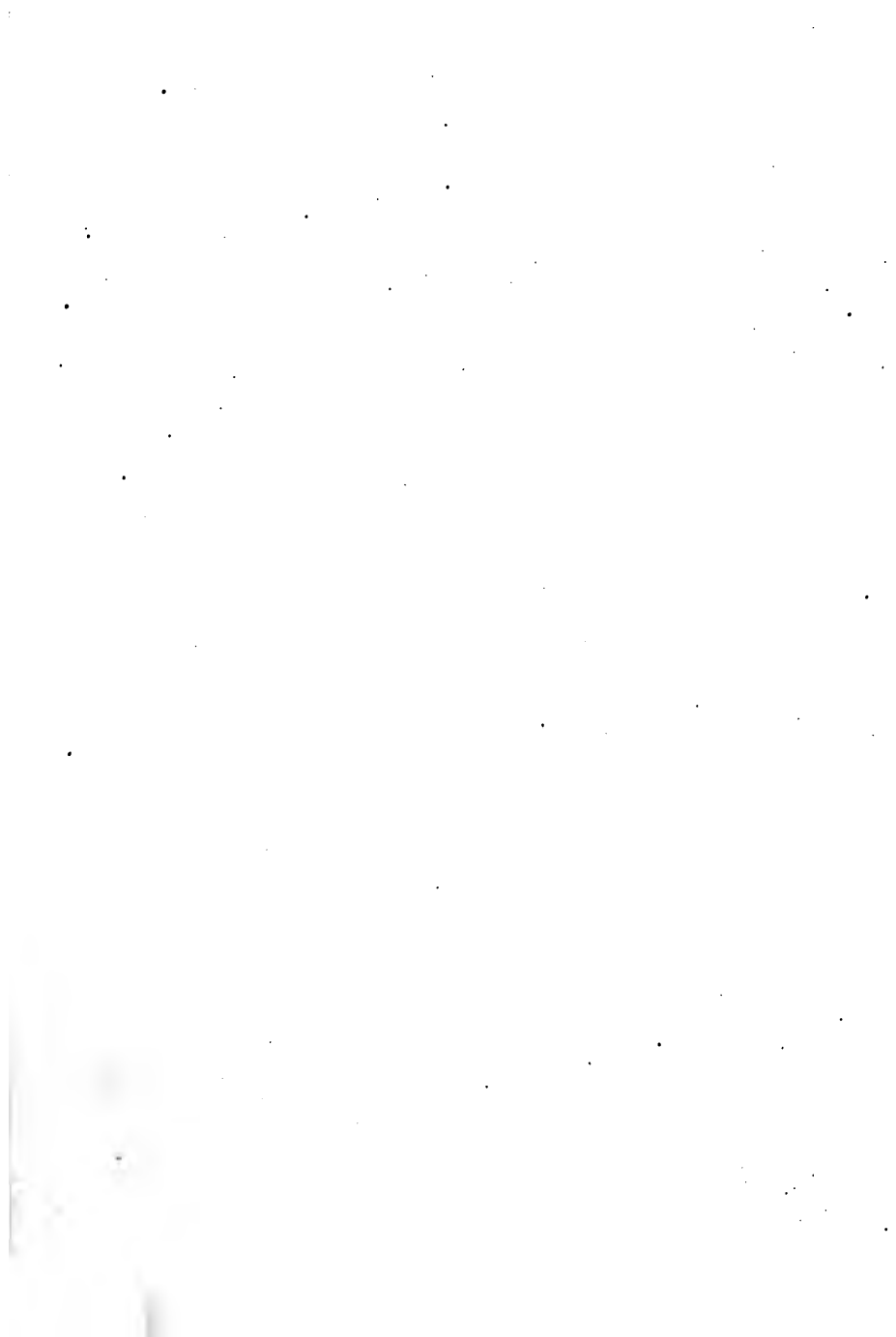




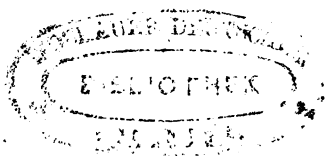


18/11

5/11



# ИЗЪ МОЕЙ ЖИЗНИ



**И. Я. ГИНЦБУРГЪ**

**1908**

LOAN STACK

И. Я. Гинцбургъ. 17 26613

# ИЗЪ МОЕЙ ЖИЗНИ

Из моей жизни

Б  
Г49

14544



И. Я. ГИНЦБУРГЪ

1908

LOAN STACK

Типографія Спб. Т-ва Печ. и Изд. дѣла „Трудъ“. Фонтанка 86.



Въ мастерской.







NB699  
G5A2  
1908

## Какъ я сдѣлался скульпторомъ.

(Изъ моихъ воспоминаній).

Мнѣ было десять лѣтъ, когда я сталъ вырѣзывать изъ камня вещицы. Камень, изъ котораго я работалъ, довольно твердый, его дома употребляли для точенія ножей. Орудіемъ для вырѣзыванія служилъ мнѣ перочинный ножикъ и заостренные гвозди отъ подковъ. Гвозди эти я находилъ на улицѣ и на порогѣ ихъ оттачивалъ. Помню, первая моя вещь была—старинный шкафъ, открытый. Въ немъ книги и другія вещи лежали въ безпорядкѣ на разныхъ полкахъ. Затѣмъ я сдѣлалъ многоэтажный домъ съ черепичной крышей, трубами, окнами, балконами, воротами и всѣми прочими деталями. Ничего не было пропущено. Наконецъ, я вырѣзалъ человѣческую фигуру, стараго еврея, собирающаго милостыню.

Не помню, что дало мнѣ толчокъ къ этому занятію. Въ городѣ Вильнѣ я никогда не видалъ никакого художественнаго произведенія: у евреевъ скульптурныя изображенія запрещены религіей. Не только въ синагогѣ, но и въ домѣ набожнаго еврея, не должно существовать изображенія человѣка или животнаго. Рожки нашей люстры были всегда залѣплены воскомъ, потому что на нихъ были изображены человѣческія лица. И въ городѣ тогда не было никакого памятника, никакой статуи. Единственная скульптура, это были

извѣстные „Болваны Тышкевича“ — такъ назывались каріатиды на домѣ графа Тышкевича. Изъ камня многіе молодые евреи дѣлали печати, которымъ иногда придавался видъ греческой колонки или тумбочки, украшенной орнаментами, плетушками. Но фигуры человѣческой я не видалъ, орнаментовъ я не любилъ. Также не заботился я о томъ, чтобы работа моя имѣла практическое примѣненіе.

Моя мать (отца не было въ живыхъ: онъ умеръ, когда мнѣ было три года) очень непріязненно относилась къ моей работѣ, въ которой видѣла отвлеченіе отъ ученія Талмуда. Я тогда еще учился въ хедерѣ (еврейская школа) и оказывалъ такіе успѣхи, что несмотря на мою молодость, мнѣ хотѣли предоставить самостоятельно заниматься наравнѣ со взрослыми въ синагогѣ. Какъ и другихъ братьевъ, меня прочили въ раввины, и находили, что у меня недюжинныя способности къ Талмуду.

Мое „баловство“, такъ называла мать занятія мои скульптурой, часто преслѣдовалось, и нерѣдко работы мои вмѣстѣ съ инструментами мать выбрасывала въ окно на улицу. Это заставило меня скрывать отъ нея работу, и я выбиралъ безопасное мѣсто и время для занятія любимымъ дѣломъ. Готовую работу я показывалъ охотно сестрамъ, которыя сочувственно ко мнѣ относились и даже ободряли меня. Онѣ втихомолку почитывали нѣмецкихъ классиковъ и романы, и знали, что мое занятіе не баловство, а искусство, которое почитается. Также часто похваливалъ мою работу старикъ-рѣзчикъ печатей Гриллихесъ. Его сынъ учился медальерному искусству въ Академіи, и потому его замѣчанія и рассказы объ искусствѣ имѣли для меня особенный вѣсъ. Отъ него же впервые услыхалъ я имя Антокольскаго.

Случилось такъ, что моя мать по дѣламъ уѣхала въ Петербургъ. Въ это время пріѣхалъ въ Вильно

Антокольскій. Это было въ іюнѣ 1870 г. Старикъ Гриллихесъ прибѣжалъ сказать, что знаменитый Антокольскій хочетъ видѣть мои работы, и чтобы я принесъ ихъ показать. И вотъ, на слѣдующій же день, причесанный и умытый, я отправился съ сильнѣйшимъ біеніемъ сердца, неся въ самодѣльной коробкѣ свои грѣхи, а можетъ быть и свои трофеи.

Помню какъ теперь свѣтлый, красивый магазинъ рѣзчика Гриллихеса. На обширномъ столѣ разбросано безчисленное множество инструментовъ, не то что мои гвозди, а удобные, красивые, о которыхъ я всегда мечталъ. На самомъ окнѣ красовались разныхъ цвѣтовъ блестящія печати, предметы моего постоянного любопытства. Самъ Гриллихесъ, бѣлый, какъ праотецъ, съ безконечной, длинной бородой, о которой говорили, что она была спрятана подъ его платьемъ, ибо ея конецъ достигалъ до пола, сидѣлъ, углубившись въ свою работу, а рядомъ съ нимъ, на креслѣ сидѣлъ онъ, мой знаменитый судья.

Всегда въ моемъ воображеніи великій скульпторъ представлялся мнѣ большого роста, просто одѣтымъ и добродушнымъ. Но увидѣлъ я щегольски одѣтую небольшую фигуру, на плечахъ небрежно наброшенъ коричневый пледъ и на одной рукѣ перчатка. Бросился мнѣ въ глаза красивый, выпуклый, бѣлый лобъ, надъ которымъ подымалась шапка курчавыхъ черныхъ волосъ. Глубоко сидящіе черные глаза пронзительно на меня посмотрѣли.

Я оробѣлъ. Лицо показалось мнѣ суровымъ, строгимъ. Особенную суровость придавали крѣпкіе, прямые волосы на бородѣ и на усахъ. Все лицо дышало энергіей, и въ то же время какое-то недовольство, выражали нѣкоторыя черты лица.

Внимательно осмотрѣвъ работы, Антокольскій взялъ меня между колѣнъ, и, стараясь поднять упорно опущенную голову мою, спросилъ:

— А хочешь со мной поѣхать въ Петербургъ? Тамъ будешь у меня заниматься. Хочешь?—Но вѣроятно по выраженію моего лица трудно было ожидать отвѣта, и потому онъ прибавилъ: — Приходи завтра съ твоимъ старшимъ братомъ, съ нимъ поговорю. Кстати, принеси инструменты, которыми работаешь.

Въ страшномъ волненіи, не помня себя отъ радости, я выбѣжалъ на улицу и влетѣлъ въ домъ весь сіяющій и торжествующій. Долго не могли сестры добиться отъ меня толковаго разсказа о случившемся. Рассказывая, я все всхлипывалъ, путалъ слова, а когда я дошелъ до предложенія Антокольскаго поѣхать съ нимъ въ Петербургъ, то разразился долгимъ рыданіемъ. Сталъ я всѣхъ упрекать, что мною, какъ младшимъ въ семьѣ, только распоряжаются для домашнихъ услугъ, но судьбой моей никто не интересуется.

Сестры не ожидали такого успѣха. Не думали онъ, что знаменитый Антокольскій одобритъ мою работу. Представилось имъ, что я уже въ Петербургѣ и дѣлаюсь знаменитымъ художникомъ. Вспомнились имъ разсказы о художникахъ, которые происходили изъ бѣдныхъ семей, какъ потомъ о нихъ говорили. Вспомнилась имъ и собственная жизнь: какъ онъ еще съ дѣтства мечтали объ образованіи, но по бѣдности приходилось имъ самоучкой научиться читать и писать по-русски и по-нѣмецки, какъ онъ потомъ набросились на чтеніе, и какъ мать была недовольна тѣмъ, что онъ читаетъ свѣтскія книги, а не религіозныя. Теперь, думали онъ, хоть бы ему удалось достигъ того, къ чему онъ стремится.

Съ нетерпѣніемъ дождались мы брата, и тутъ повторилась та же сцена, только вмѣсто одного моего безтолковаго разсказа получилось три. Мы всѣ перебивали другъ друга, больше нападали на брата за его постоянное непониманіе искусства, за его равнодушіе къ судьбѣ будущаго художника. И на брата произвело

глубокое впечатлѣніе то, что чужой человѣкъ хочетъ меня взять къ себѣ и учить. Воспитанный въ духѣ глубоко-религіозномъ, братъ мой, какъ почти всѣ другіе братья (насъ было пять братьевъ и три сестры), готовился въ раввины, окончилъ раввинское училище и слылъ за хорошаго талмудиста. Въ послѣднее время онъ увлекался математикой и мечталъ получить высшее образованіе. Стали совѣщаться и порѣшили немедленно написать обо всемъ матери, и просить отпустить меня въ Петербургъ.

На слѣдующій день я пошелъ съ братомъ въ магазинъ Гриллихеса. Антокольскій тамъ насъ ждалъ. Онъ тщательно осмотрѣлъ мои инструменты, разспрашивалъ, какъ я ихъ сдѣлалъ, и еще настойчивѣе сталъ упрашивать брата отпустить меня съ нимъ въ Петербургъ.

Братъ отвѣтилъ, что все зависитъ отъ матери, которой уже послано письмо. Отвѣтъ отъ матери получился неблагопріятный: она въ самыхъ строгихъ выраженіяхъ запретила мнѣ пріѣхать подъ страхомъ немедленной отправки домой. Мотивировала она свой отказъ тѣмъ, что не могла дозволить сыну своего благочестивѣйшаго мужа (отецъ мой былъ раввинъ и писатель) жить въ Петербургѣ, гдѣ порядочный еврей не въ состояніи вести жизнь въ духѣ благочестія и набожности.

Я былъ въ отчаяніи, сестры также. Братъ долженъ былъ этотъ отвѣтъ передать Антокольскому. Слухъ о предложеніи Антокольскаго взять меня въ Петербургъ и отказъ матери распространился среди всѣхъ нашихъ родственниковъ и знакомыхъ. Всѣ обсуждали этотъ вопросъ; мнѣ сочувствовали и меня жалѣли. Наконецъ, когда Антокольскій объявилъ брату, что черезъ три дня онъ уѣзжаетъ и потому просилъ рѣшительнаго отвѣта, мы всѣ переполошились: боялись упустить моментъ. Антокольскій сказалъ:

— Совѣтую хорошенько подумать, ибо если теперь не отпустите его, то потомъ мнѣ не представится другого случая и возможности взять его съ собой.

Стали всѣ думать, какъ рѣшить, и подъ давленіемъ знакомыхъ, а главное—сестеръ, братъ придумалъ слѣдующее: онъ передастъ рѣшеніе этого дѣла дѣдушкѣ, въ совѣщаніи съ другими набожными евреями. Это совѣщаніе или судъ долженъ былъ имѣть рѣшающее значеніе для матери, ибо она обожала дѣдушку, который былъ извѣстенъ во всемъ городѣ какъ набожный и честнѣйшій человѣкъ. Къ нему часто обращались за совѣтами по разнымъ дѣламъ, и нерѣдко онъ бывалъ третейскимъ судьей. Его почитали какъ богатые, такъ и бѣдные, какъ набожные, такъ и ненабожные евреи. Съ другой стороны, этимъ способомъ братъ слагалъ съ себя отвѣтственность въ случаѣ, если бы рѣшеніе дѣдушки противорѣчило рѣшенію матери.

И вотъ, вторично предсталъ я передъ судомъ, но болѣе страшнымъ и неумолимымъ. Сердце мое еще сильнѣе бьется, ибо теперь я былъ убѣжденъ, что работа моя одобрена великимъ авторитетомъ, а все зависѣло отъ приговора старыхъ людей, никогда не выдавшихъ ничего художественнаго и по религіознымъ взглядамъ своимъ осуждавшихъ скульптуру. Предварительно братъ разсказалъ дѣдушкѣ объ Антокольскомъ, о моихъ работахъ. Дѣдушка удивился, что раньше мать ему ничего не говорила о моихъ бездѣлушкахъ (мать боялась этимъ огорчить его) и вотъ я съ трепетомъ показываю свои камешки. Бабушка вѣчно живая, суетливая, первая попытствовалась, и увидавъ ихъ, всплеснула руками и воскликнула:

— Да вѣдь это идолы! Даже грѣшно смотрѣть. Это погано для еврейскаго глаза.

— Дѣло мое пропало,—подумалъ я,—провалился я, несчастный. Но смотрю: дѣдушка держитъ крѣпко въ

рукахъ мои идола. Онъ тщательно ихъ разсматриваетъ, улыбается, качаетъ головою, гладитъ меня по головѣ, приговаривая:

— Какой ты искусникъ, какъ все у тебя точно, вѣрно! Ничего ты не пропустилъ!

И это говорить семидесятипятилѣтній святой старецъ, никогда въ жизни не выдавшій ни одного скульптурнаго изображенія. Не даромъ я всегда обожалъ его больше всѣхъ на свѣтѣ, и неоднократно мечталъ бросить все, всѣ шалости и работы, и сдѣлаться такимъ, какъ онъ, бѣднымъ и святымъ.

Рѣшеніе дѣдушки было таково: слишкомъ важно то обстоятельство, что человѣкъ чужой хочетъ принять близкое участіе въ судьбѣ мальчика; вѣроятно, очень важно значеніе, которое придается этой работѣ. Съ другой стороны слишкомъ велико имя отца мальчика, велики заслуги его въ еврействѣ, чтобы на томъ свѣтѣ онъ не отстаивалъ сына передъ всякими соблазнами, чтобы вездѣ, гдѣ бы сынъ ни былъ, не сохранилъ бы его отъ всякаго супостата. Съ этимъ всѣ согласились и рѣшили отпустить меня въ Петербургъ.

Заручившись этимъ рѣшеніемъ, братъ передалъ меня Антокольскому, а матери написалъ о всемъ происходившемъ, прося поскорѣе вторичнаго отвѣта. Для того же, чтобы отрицательный отвѣтъ матери не могъ помѣшать моему отъѣзду, онъ послалъ письмо въ самый день отъѣзда, такъ, чтобы я прибылъ въ Петербургъ одновременно съ письмомъ.

Идея учиться скульптурѣ была для меня такъ привлекательна, что я отъ восторга сгоралъ нетерпѣніемъ скорѣе уѣхать, и послѣдніе дни плохо ѣлъ и мало спалъ. Никого и ничего не было мнѣ жалъ, и, никогда не отлучавшись изъ родного дома, я съ легкимъ сердцемъ разставался съ родными, со знакомыми, стремясь къ новой жизни, точно уѣзжаю на кратковременную прогулку. Только когда бабушка одѣвала меня въ до-

рогу, я расплакался, но то были скорѣе слезы радости, что сбудутся мои мечты, чѣмъ страхъ передъ неизвѣстнымъ будущимъ. На вокзалѣ всѣ меня провожали и я весело простился съ братьями и сестрами. Я чувствовалъ, что они мнѣ завидуютъ, и имъ бы хотѣлось вырваться изъ дому, гдѣ послѣ смерти отца насъ осталось восемь человѣкъ, и мы все терпѣли нужду и бѣдность. Мнѣ посчастливилось, хоть я и не первый ушелъ изъ дому. Еще за много лѣтъ до меня братъ мой уѣхалъ безъ вѣдома матери за границу и тамъ устроился: онъ сдѣлался лѣшникомъ-позолотчикомъ. Но это былъ простой работникъ, а отъ меня ждали чего-то большаго.

По желѣзной дорогѣ я ѣхалъ въ первый разъ. Я, конечно, тотчасъ устремился къ окну и отъ него не отходилъ: все смотрѣлъ на убѣгающіе виды. Казалось мнѣ, что для того, чтобы достигнуть счастья, хорошаго будущаго, надо летѣть за много, много верстъ; какъ въ сказкѣ „Волшебная лампочка“ старикъ понесъ Аладдина черезъ моря и лѣса къ мѣсту счастья, такъ и меня мой чудный незнакомецъ увозилъ куда-то далеко. И день, и ночь простоялъ я у окна, спать не хотѣлось, боялся забыться во снѣ. Пріятно мнѣ было чувствовать, что отъ чего-то убѣгаю.

Не помню, почему, въ эту ночь Антокольскій былъ въ другомъ вагонѣ. Утромъ, зайдя ко мнѣ, онъ меня спросилъ: „Помолился ты?“ Я поспѣшилъ отвѣтить „да“. Къ этой неправдѣ я привыкъ: и дома я не любилъ молиться; даже тогда, когда долженъ былъ стоять вмѣстѣ съ братьями въ синагогѣ, на молитвѣ, я, бывало, вмѣсто молитвы бормочу несвязныя слова, а самъ думаю о другомъ.

Вообще, въ дѣтствѣ у меня не было никакого желанія соблюдать религіозные обряды. Ни страхъ передъ Богомъ, ни розги на томъ свѣтѣ не пугали меня. И въ субботу, и въ праздники, я часто нарушалъ пред-



писанія религіи, но не чувствуя никакого влеченія къ соблюденію обрядностей, я, однакоже, глубоко благоговѣлъ передъ набожностью дѣдушки. Казалось мнѣ, одно изъ двухъ: или быть такимъ цѣльнымъ какъ дѣдушка, или совсѣмъ ничего не соблюдать. Но за нѣсколько лѣтъ до того у меня чуть не случился поворотъ къ религіозному мистицизму. Подъ вліяніемъ разсказовъ въ долгіе зимніе вечера въ хедерѣ, а иногда въ синагогѣ, о мертвецахъ, о чудесахъ, о молодыхъ праведникахъ, ушедшихъ ради религіи изъ дому, я вдругъ задумалъ перемѣнить свой образъ жизни, сдѣлаться праведникомъ въ духѣ обожяемаго дѣдушки. Я долго носился съ этою мыслью, и наконецъ назначилъ день, въ который должно совершиться мое превращеніе. Но случилось такъ, что какъ разъ въ этотъ день утромъ пріѣхалъ дядюшка и подарилъ мнѣ пятакъ на гостинцы. Желаніе полакомиться взяло верхъ, и я порѣшилъ отложить свой обѣтъ на два дня. Дѣйствительно, черезъ два дня я сдержалъ свое обѣщаніе: съ утра я преобразился, помолился отъ всего сердца, громко, ничего не пропустивъ; сталъ вдругъ послушнымъ, добрымъ, бросилъ шалости и сдѣлался такимъ сосредоточеннымъ, грустнымъ, что всѣ домашніе скоро замѣтили перемѣну во мнѣ.

— Что съ нимъ стало? — говорили братья. — Какую-то новую шалость задумалъ онъ, или напроказничалъ уже очень.

— Лучше сознайся, — говорили сестры, — вѣроятно, на улицѣ кого-нибудь поколотилъ, или, можетъ быть, въ шкафу чѣмъ-нибудь полакомился?

Но я боялся разспросовъ, разговоровъ, сталъ прятаться отъ всѣхъ. Мнѣ больно было, что меня не хотятъ понять; а если поймутъ, то еще, пожалуй, больше смѣяться станутъ. Видя, что я не отвѣчаю, братья стали издѣваться надо мною.

— Онъ просто задумалъ въ Америку бѣжать, — го-

ворили они, намекая на то, что я любилъ слушать рассказы о путешественникахъ.

Скоро это дѣло дошло до матери.

— Я выгоню эту дурь изъ головы,—сказала она.

Нѣсколько дней продолжалось это преслѣдованіе. Съ другой стороны я такъ утомился отъ соблюденія строгаго режима, что не выдержалъ, и отложилъ свое намѣреніе сдѣлаться благочестивымъ, еще на нѣсколько недѣль, а тамъ скоро и совсѣмъ забылъ о немъ.

Теперь, въ вагонѣ, усталый отъ бессонной ночи, я отчего-то припомнилъ все это со всѣми подробностями. Именно теперь, въ этотъ рѣшительный моментъ моей жизни я чувствовалъ, что тогдашнее мое настроеніе было самое важное и возвышенное. Все же остальное въ моемъ прошломъ казалось мнѣ ничтожнымъ и жалкимъ, и потому я не жалѣлъ, что отъ него убѣгаю.

Антокольскій высадилъ меня въ Петербургъ на Вознесенскомъ проспектѣ, у подѣзда временной синагоги, гдѣ остановилась моя мать, а самъ уѣхалъ къ себѣ, давъ мнѣ свой адресъ и сказавъ, чтобъ я пришелъ къ нему въ воскресенье, вмѣстѣ съ матерью. Матери не было дома, но меня любезно приняли хозяева квартиры. Это были кастелланъ синагоги и его жена, очень хорошіе друзья моей матери. Они меня, запуганнаго и усталаго, обласкали и успокоили. Но вотъ звонокъ—приходитъ мать. Увидавъ меня она расплакалась, рассердилась, что ея не послушались и прислали меня: но потомъ успокоившись, она сказала:

— Сегодня канунъ субботы; побудешь со мною, отдохнешь, а тамъ въ воскресенье я отправлю тебя обратно домой.

За обѣдомъ хозяева и гости стали уговаривать мать, оставить меня въ Петербургѣ, а на слѣдующій день, когда самъ раввинъ, хорошо знавшій моего покойнаго отца, и потому пользовавшійся особеннымъ уваженіемъ матери, подтвердилъ мнѣніе всѣхъ, что слѣдуетъ пола-

гаться на Антокольскаго и у него учиться скульптурѣ, мать стала колебаться, и въ воскресенье, въ назначенный часъ, повезла меня къ Антокольскому.

Антокольскій жилъ тогда противъ Академіи, въ домѣ Воронина, въ четвертомъ этажѣ. Это было въ большой, но не высокой комнатѣ, обставленной по-студенчески. Бросились мнѣ въ глаза его работы: прекрасный этюдъ опрокинутаго стола, съ котораго падаетъ скатерть. Это—для задуманной имъ композиціи „Инквизиціи“. Пальцемъ дотронулся я до скатерти, чтобъ убѣдиться, не настоящая ли она. Также понравилась мнѣ пишущая рука, небольшая скульптура изъ дерева.

Антокольскій, показавшійся мнѣ тутъ добрѣе и мягче, чѣмъ въ Вильнѣ, сказалъ матери, что беретъ меня на испытаніе, и въ теченіе недѣли скажетъ, оставляетъ ли онъ меня навсегда у себя. Пока я долженъ былъ приходить къ нему каждый день работать.

И вотъ начинается для меня каждый день путешествіе на Васильевскій Островъ. Это путешествіе сильно врѣзалось мнѣ въ память. Въ особенности памятно мнѣ мое первое знакомство со столицей. Все было для меня ново и необыкновенно; вездѣ я останавливался и на все долго смотрѣлъ. На Вознесенскомъ проспектѣ мое вниманіе привлекали вывѣски мелочныхъ лавочекъ; эти огромные фрукты, виноградъ, румяныя яблоки казались мнѣ верхомъ совершенства въ живописи, и думалъ я: буду ли когда-нибудь въ состояніи такъ рисовать? Казались мнѣ живыми коровы и овцы на вывѣскахъ мясныхъ лавокъ. Долго я любовался у каждой лавки вывѣсками, и не замѣчалъ, какъ лавочники и мальчишки меня окружали, хохотали, что-то говорили, показывая мнѣ часть полы. Русскаго языка я тогда не зналъ и потому въ недоумѣніи смотрѣлъ на нихъ, не зная, чего отъ меня хотятъ. Въ голову мнѣ не приходило, что меня дразнятъ, что надо мною издѣваются. Тогда у меня были очень длинные волосы и весь ко-

стюмъ мой изобличалъ во мнѣ провинціального еврея. Часто мое равнодушіе выводило мальчишекъ изъ терпѣнія. Меня стали бить и гнать. Я убѣгалъ, запутываясь съ своимъ длиннымъ капотѣ, падалъ, и тогда вся улица хохотала. Мои преслѣдованія прекращались, когда я достигалъ Синяго моста. Памятникъ Императора Николая I меня поразилъ, но я не понималъ, почему фигура и лошадь поставлены на такую высокую тумбу. Зато очень ужъ курьезной показалась мнѣ неподвижная фигура часового гренадера, — думалъ, что это статуя, и подошелъ, чтобы разсмотрѣть ее поближе, но фигура вдругъ зашевелилась, и я отскочилъ испуганный, и долго не могъ придти въ себя, и ужъ все наблюдалъ издали за движеніемъ этого гиганта. На Николаевскомъ мосту я не мало времени потратилъ, слѣдя за движеніями судовъ и пароходовъ о которыхъ раньше понятія не имѣлъ.

Прошло нѣсколько часовъ, пока добрался я до Васильевского Острова. Антокольскій свелъ меня въ мастерскую. Онъ тогда временно занималъ скульптурный классъ (теперь педагогическіе классы), перегородженный на двѣ части: въ первой работалъ живописецъ Савицкій, а во второй онъ. По сторонамъ класса стояли огромныя гипсовыя статуи. Онъ мнѣ напоминали „Болвановъ Тышкевича“, я мало обратилъ на нихъ вниманія, до того показались онъ мнѣ мало выразительными и похожи другъ на друга. Зато я въ восхищеніи былъ отъ картины Савицкаго: это была первая картина, которую я видѣлъ и понималъ. Тутъ мнѣ нравилось все: и больной, рассказывающій о госпиталѣ, и сердобольная мать, и солдатъ отецъ.

Антокольскій тогда только что началъ „Іоанна Грознаго“. Онъ помѣстилъ меня за перегородкой, позади себя, далъ мнѣ кусокъ глины, гипсовый кулакъ и сказалъ: „Копируй“. Никогда я не держалъ глины въ рукахъ; еще менѣе зналъ я, какъ надо обращаться со

стеками. И вотъ, тихонько раздвинувъ занавѣсъ, я сталъ смотрѣть, какъ работаетъ мой великій учитель, и его смѣлость въ обращеніи съ глиною и стеками меня воодушевила, и я бросился къ своей глинѣ. До того я еще сознавалъ важность испытанія, отъ котораго зависитъ, можетъ быть, моя судьба. Но теперь, начавъ работать, я все забылъ. Нѣсколько часовъ пробѣжало въ работѣ для меня незамѣтно. Я бы продолжалъ такъ работать до вечера, но отходя отъ работы, я наткнулся на самого Антокольскаго: оказалось, онъ сзади стоялъ и смотрѣлъ. Ноги у меня подкосились. „Онъ все видѣлъ, а я, можетъ быть, не такъ лѣпилъ“, подумалъ я, и кровь бросилась мнѣ въ голову. Но, точно угадавъ мое состояніе, Антокольскій поторопился сказать:

— Молодецы! Не ожидалъ я, что такъ скоро вылѣпишь. Ты почти кончилъ. Завтра я тебѣ дамъ другое, болѣе трудное.

„Все рѣшено“, подумалъ я, и глубоко вздохнулъ. Я сталъ еще смѣлѣе работать, и черезъ нѣсколько дней, когда у меня была готова „Геркулесова нога“, Антокольскій сказалъ:

— Возьми свои работы и пойдемъ къ барону Гинцбургу. Надѣюсь, мнѣ удастся для тебя что-нибудь сдѣлать.

Въ богатомъ домѣ барона я былъ ослѣпленъ роскошью и блескомъ, о которыхъ раньше никогда не имѣлъ понятія. Я оробѣлъ, но добрый баронъ меня приласкалъ, потрепалъ меня по щекѣ и сказалъ:

— Ужъ очень онъ маленькій и худенькій.

По выходѣ отъ барона, Антокольскій сказалъ:

— Поздравляю тебя: теперь ты обезпеченъ, баронъ даетъ тебѣ стипендію.

Признаться, я не понялъ, что это значитъ „стипендія“, и для чего она. Мать, между тѣмъ, собиралась уѣхать изъ Петербурга и пришла прощаться съ Анто-

кольскимъ. Онъ ей сказалъ, что оставляетъ меня у себя, и въ видѣ радости сообщилъ о стипендіи, назначенной барономъ. Но мать, вмѣсто благодарности заплакала:

— Бѣдный мой сынъ!—сказала она.—Онъ долженъ прибѣгать къ милостынѣ.

На прощанье мать просила Антокольскаго слѣдить за тѣмъ, чтобы я соблюдалъ религіозные обряды, молился бы ежедневно и чтобы по нѣскольку главъ читалъ изъ Талмуда. Я совсѣмъ переселился къ Антокольскому, а столовался у портного-еврея Сагалова, жившаго въ Пажескомъ корпусѣ.

Началась у меня жизнь новая, необыкновенная. Утромъ я уходилъ въ мастерскую, гдѣ копировалъ уже болѣе сложныя вещи, затѣмъ обѣдалъ у Сагалова, а днемъ проводилъ нѣсколько часовъ у товарищей Антокольскаго, художниковъ Рѣпина и Савицкаго. Жена Савицкаго давала мнѣ уроки русскаго языка, учила чтенію и письму. Она была очень красивая, умная и любезная женщина, и чрезвычайно мнѣ нравилась. Я старался изо всѣхъ силъ хорошо учиться, но много мѣшало мнѣ то обстоятельство, что во время уроковъ всегда кто-нибудь изъ знакомыхъ художниковъ сидѣлъ и разговаривалъ съ учительницей.

Я сталъ понимать по-русски и ко всему прислушивался. Это принесло мнѣ пользу при изученіи языка, но на урокахъ я сталъ мало внимателенъ. Воображали что я ничего не понимаю, потому что не говорю, при томъ мой ростъ и моя наружность внушали убѣжденіе, что я еще ребенокъ. При мнѣ не стѣснялись говорить обо всемъ; на самомъ же дѣлѣ я тогда былъ настолько уже развитъ, что все меня интересовало, и умъ у меня постоянно работалъ.

Разъ былъ такой случай. На урокъ чтенія присутствовалъ Антокольскій. Онъ рассказывалъ о томъ, какъ ему понравилась какая-то красавица. Я наострилъ уши и сталъ медленнѣе читать.

— Я просто влюбленъ,—говорить съ жаромъ мой великій благодѣтель и учитель.

— Хотѣли бы на ней жениться?—спрашиваетъ его моя наставница.

Молчаніе. Я приостанавливаю чтеніе и жду.

— Что-жъ не отвѣчаете?—вопрошаетъ учительница, въ то же время стучить карандашомъ по моей книгѣ, приговаривая: „дальше“.

Что-жъ не отвѣчаете?—въ нетерпѣннѣйшую вторю ей я.

Эффектъ былъ необычайный. Всѣ переглянулись, засмѣялись и съ тѣхъ поръ разговоры велись урывками и не такъ понятно для меня.

Вообще моя природная любознательность находила огромный матеріалъ: все было для меня ново. Казалось, я попалъ на другую планету: и люди такіе, какихъ раньше у себя дома не видалъ, и интересы у этихъ людей другіе, и образъ жизни совсѣмъ другой. Ко всему я присматривался и старался во все вникнуть. У Антокольскаго тогда работа кипѣла; статуя близилась къ концу. Многіе стали посѣщать его мастерскую и съ каждымъ днемъ кругъ его знакомыхъ все увеличивался. Онъ поручилъ мнѣ вылѣпить барельефы по рисункамъ Солнцева на кресло Іоанна Грознаго. Работа эта была для меня лестная и пріятная; я ревностно работалъ; всѣ видѣли, какъ я лѣплю, и меня хвалили. „Помогаетъ Антокольскому“, говорилъ служитель, когда его спрашивали, что я дѣлаю. „Это будущій Антокольскій“, говорили нѣкоторые посѣтители. „Позвольте, Маркъ Матвѣевичъ, вашего милаго ученика поцѣловать“, говорили другія посѣдительницы.

Антокольскій сталъ брать меня съ собой къ своимъ знакомымъ. Такъ я сталъ бывать у Сѣрова. Валентина Семеновна Сѣрова любила меня, какъ своего сына Валентина, съ которымъ я проводилъ цѣлыя вечера въ его дѣтской. Бывало, я присутствовалъ на музыкѣ въ залѣ. Тогда у Сѣрова собирался весь театральнѣйшій

міръ. Тамъ впервые увидѣлъ я Ивана Сергѣевича Тургенева, гиганта въ бархатной визиткѣ. Онъ произвождалъ на меня впечатлѣніе красиваго богатаго купца. Самъ Сѣровъ коротенькой своей фигурой казался мнѣ смѣшнымъ; онъ всегда носилъ очень широкіе сѣрые брюки, широкій пиджакъ, сѣдые густые мягкіе волосы падали на плечи и окаймляли бритое бѣлое лицо; черты лица были мягкія, жественныя; думалось мнѣ, что именно такъ долженъ выглядѣть композиторъ. Онъ нерѣдко игралъ еще не поставленную оперу свою „Вражья Сила“. Всѣ съ затаеннымъ дыханіемъ слушали новое произведение композитора. Атмосфера была полна благоговѣнія къ творцу и искусству, и я, не понимая музыки, прислушивался къ тому настроенію, которымъ было проникнуто общество.

Иногда я хаживалъ къ Николаю Николаевичу Ге. У него я любилъ смотрѣть безчисленные итальянскіе этюды, развѣшанные по всѣмъ стѣнамъ квартиры. Жгучимъ солнцемъ, какимъ-то огнемъ вѣяло отъ этихъ прекрасныхъ этюдовъ, а при видѣ ихъ меня невольно тянуло на югъ. Самъ Н. Н., высокій, красивый старикъ, чрезвычайно нравился мнѣ своей откровенностью, веселостью и остроуміемъ. Частенько сиживалъ я у его сыновей, Петра и Николая. Они уже учились въ гимназіи, но помимо того занимались дома ремеслами: Николай столярнымъ, а Петръ переплетнымъ. Съ особеннымъ любопытствомъ я слѣдилъ за ихъ работой и завидовалъ имъ.

По воскресеньямъ я сталъ бывать у Стасовыхъ. Тамъ я встрѣчалъ совсѣмъ другой кругъ людей. Тутъ были не одни художники: бывали литераторы музыканты и люди разныхъ профессій. Сами братья Стасовы, внѣ дома, жили и работали въ разныхъ сферахъ: одинъ служащій въ Публичной Библіотекѣ, больше всего знался съ художниками, литераторами и музыкантами; другой былъ военный, а третій, очень начитанный, имѣлъ большой кругъ



знакомыхъ въ мірѣ общественныхъ дѣятелей; четвертый—адвокатъ. Все, что происходило въ городѣ, тутъ сообщалось, всякій приносилъ свои свѣдѣнія и все обсуждалось сообща. Жизнь тутъ кипѣла во всѣхъ широкихъ и хорошихъ проявленіяхъ своихъ. Послѣ замкнутаго міра художниковъ тутъ казалось мнѣ все шире. Кругозоръ мой сталъ расширяться, и я болѣе сталъ интересоваться всѣмъ окружающимъ. За столомъ я сидѣлъ обыкновенно рядомъ съ Владиміромъ Васильевичемъ, который былъ центромъ всего, съ его гигантскимъ ростомъ, громкимъ голосомъ, широкою непоколебимою стойкостью своихъ взглядовъ. Онъ больше всѣхъ говорилъ и больше всѣхъ горячился. Тогда я былъ очень робокъ и меня вначалѣ поражалъ этотъ необычайный шумъ за столомъ, этотъ горячій споръ. Особенной горячностью отличался Владиміръ Васильевичъ. Онъ, бывало, спорилъ съ десятию заразъ, и иногда, бывало, онъ такъ нападаетъ на сосѣда, что мнѣ жалко бывало его противника. Бѣдный, думалъ я, вѣроятно ему неловко, что его такъ отдѣлываютъ, да при всѣхъ еще. Я на его мѣстѣ обидѣлся бы. Съ участіемъ смотрю на него; но противникъ точно угадалъ мои мысли. Онъ ко мнѣ нагибается и на ухо говоритъ:

— Вы не думайте, что онъ сердится; не огорчайтесь его. Это добрыйшій человѣкъ: онъ мухи не обидитъ. Я съ нимъ не согласенъ, но его очень люблю.

И дѣйствительно, только кончился споръ, Владиміръ Васильевичъ уже добродушно смѣется, шутить и острить. Онъ вилокъ пихаетъ мнѣ въ ротъ кусокъ мяса съ своей тарелки, приговаривая: „Ѣшьте, вы маленькій, худенькій; вамъ надо побольше мяса ѣсть“. Я противлюсь, но онъ настаиваетъ: „Ну, да ну“, и я ѣмъ, а всѣ смѣются.

— Бѣдный мальчикъ,—говоритъ съ другого конца стола добрыйшій сердечныйшій невѣстка Стасовыхъ, Маргарита Матвѣевна,—зачѣмъ его туда посадили? Вѣдь Вольдемаръ его замучить.

Но я счастливъ, что сижу у самаго центра и слышу все, о чемъ говорятъ. На другомъ концѣ стола все группируется кругомъ другого центра, Надежды Васильевны Стасовой. Она на видъ совершенная противоположность брату своему: ростомъ маленькая, сгорбленная, близорукая. Она говорила тихимъ голосомъ и только изрѣдка спорила; но по характеру своему она больше всѣхъ походила на брата: тотъ же огонь таился подъ этой тихой, скромной оболочкой, то же человѣколюбіе въ самомъ широкомъ, свѣтломъ смѣслѣ, та же безпредѣльная любовь къ свободѣ, къ свѣту, то же состраданіе къ угнетеннымъ и то же страстное негодованіе противъ несправедливости и фальши. Мое знакомство съ этимъ семействомъ настолько связано съ моимъ развитіемъ, съ моимъ воспитаніемъ (слишкомъ 30 лѣтъ я не переставалъ бывать у нихъ), что я, описывая свое прошлое, еще не разъ вернусь къ нему. Но, помимо моихъ личныхъ отношеній, долженъ сказать, что за 30 лѣтъ люди эти и ихъ друзья не отступали отъ своихъ взглядовъ, и какъ теперь, такъ и тогда, были неизмѣнными выразителями идей и стремленій лучшей части русскаго общества.

А тогда было время общаго подъема духа интеллигентнаго общества. Всѣ были дружны между собою. Все свѣтлое, хорошее подхватывалось, превозносилось. Еврей, малоросъ, полякъ—всѣ были равны, у всѣхъ была одна задача, одна цѣль: общее просвѣщеніе и любовь къ наукѣ и къ искусству. Часто у Антокольскаго собирались товарищи-художники, спорили объ искусствѣ, о задачахъ художника. Ихъ споры бывали искренни, увлекательны. Самъ хозяинъ—еврей, полякъ Семирадскій, малоросъ Рѣпинъ и великоросъ Максимовъ,—всѣ были искренніе товарищи и никакой національный вопросъ не растравлялъ ихъ отношеній. Цѣлые вечера они просиживали вмѣстѣ за скромнымъ чайнымъ столикомъ и говорили до поздняго вечера объ

искусствѣ. Иногда между ними сидѣлъ вѣчно юный В. В. Стасовъ, этотъ истинный поклонникъ молодыхъ, оригинальныхъ талантовъ. Я, сидя за отдѣльнымъ столомъ и приготовляя уроки, прислушивался къ разговорамъ, и хотя многого не понималъ, но чувствовалъ, что люди эти воодушевлены общимъ любимымъ дѣломъ, вѣрятъ съ свое дѣло, и потому любятъ другъ друга. И частенько я думалъ о томъ, какъ я счастливъ, что живу среди этихъ счастливицевъ и что когда-нибудь сдѣлаюсь такимъ же полезнымъ (тогда, казалось мнѣ, всѣ вѣрили въ полезность просвѣщенія и искусствъ) и хорошимъ дѣятелемъ.

Въ январѣ Антокольскій совершенно закончилъ статую Юанна Грознаго. Императоръ Александръ II поднялся на четвертый этажъ, чтобы посмотреть статую, и приобрѣлъ ее. Академія удостоила Антокольскаго званіемъ академика. Всѣ заговорили о статуѣ; мастерская весь день была полна народу. Имя Антокольскаго еще болѣе загремѣло, когда Стасовъ и Тургеневъ написали о немъ хвалебныя статьи. Со всѣхъ сторонъ стали Антокольскаго приглашать. Онъ рѣдко бывалъ дома, и мнѣ часто случалось оставаться одному въ комнатѣ. Изъ многихъ привычекъ, оставшихся у меня отъ прежней жизни, была боязнь оставаться одному вечеромъ въ комнатѣ. Бывало, до двухъ часовъ утра сижу и жду прихода Антокольскаго, но когда услышу звонокъ, тотчасъ гашу лампу и ложусь, притворяясь, что сплю. Антокольскій, бывало, подходитъ къ моей кровати, смотритъ, сплю ли я, и иногда меня цѣлуетъ. Это ужасно меня трогало. Я чувствовалъ, что онъ меня любитъ. Я все болѣе, и болѣе привязывался къ нему, старался во всемъ слушаться его, угождать и быть ему полезнымъ. И дѣйствительно, наши отношенія были наилучшія, и только разъ вышла большая непріятность. Онъ вернулся ранѣе обыкновеннаго домой и спросилъ меня, отлучался ли я куда нибудь изъ дому. Дѣйстви-

тельно, въ этотъ вечеръ я уходилъ къ Сагалову и тамъ провелъ нѣсколько часовъ. „Нѣтъ“, отвѣчаю я беззапѣнчиво, желая порисоваться своимъ одиночествомъ и показать, что безъ него я ничего не предпринимаю.— „А почему ты врешь!“ вскрикнулъ онъ, весь вспыхнувъ. На слѣдующій день, когда м-ше Савицкая похвалила меня за успѣхи по русскому языку, Антокольскій сказалъ: „Да хорошъ-то хорошъ, но у него страшный недостатокъ—онъ лжетъ“. Всѣ изумились, закачали головой, и мнѣ такъ стало стыдно, что я порѣшилъ—больше ему не врать.

Работа моя по лѣпкѣ пріостановилась. Антокольскому некогда было смотрѣть за мной, да, кромѣ того, я не могъ больше работать въ мастерской, которая была и тѣсна, и всегда полна народу. Я сталъ рисовать то у Рѣпина, то у Семирадскаго. Рисованіе давалось мнѣ съ трудомъ. Я очень не любилъ огромныхъ гипсовыхъ головъ: онѣ казались мнѣ скучными и безхарактерными, и я часто, бывало, засыпалъ надъ рисункомъ. Огромное значеніе для меня имѣло то, что я видѣлъ, какъ работали талантливые, тогда опытные уже художники: Рѣпинъ, Семирадскій и Савицкій. Постоянно присматривался я къ ихъ безчисленнымъ этюдамъ и талантливымъ наброскамъ. Помимо программы, нѣкоторые писали картины на собственную тему. Рѣпинъ тогда писалъ „Бурлаковъ“. Часами я смотрѣлъ, бывало, на эту безподобную, правдивую картину. Искренностью и самобытностью вѣяло отъ волжскихъ этюдовъ, писанныхъ для этой картины. Нравились мнѣ и картины Семирадскаго и Ковалевскаго, но, не будучи знакомъ съ исторіей, я только восхищался красками и умѣньемъ рисовать. Семирадскому и Урлабу я позировалъ для ихъ программы. Почти безотлучно я находился въ верхнихъ коридорахъ Академіи (мастерскія конкурентовъ), гдѣ, какъ монахи въ кельяхъ, молодые труженики работали съ утра до вечера. Слѣдилъ я за ходомъ работъ

у всякаго художника и мнѣ доставляло удовольствіе сравнивать ихъ работы. Хотя я числился ученикомъ Антокольскаго, но какъ будто былъ ученикомъ всѣхъ. Какъ дочь полка, я былъ ученикомъ конкурентовъ и былъ всѣмъ извѣстенъ подъ названіемъ „маленкій Эліасъ“. Бывалъ я у всѣхъ, но чаще всего у Рѣпина, тогда лучшаго друга Антокольскаго. Въ то время Антокольскій лѣпилъ бюстъ Стасова въ мастерской Рѣпина. Я присутствовалъ при сеансахъ. Много говорили объ искусствѣ. Стасовъ поднялъ вопросъ о раскраскѣ скульптуры и Рѣпинъ сталъ раскрашивать бюстъ Стасова. Все новое въ искусствѣ обсуждалось и обо всемъ свободно высказывалось свое мнѣніе. Не только въ Академіи, но и дома у себя, въ свободныя минуты вечеромъ всѣ рисовали. Иногда собиралось нѣсколько художниковъ вмѣстѣ одинъ читалъ, а другіе рисовали. И по праздникамъ свободное время посвящалось искусству. Бывало, Рѣпинъ, Савицкій Максимовъ и др. отправлялись на Петровскій или Крестовскій островъ, тамъ усаживались на берегу, на травкѣ и рисовали, кто лодочку на солнце, кто кустъ, а кто Неву съ барками. Все дѣлалось не кое-какъ, а серьезно и старательно. Зависти ни у кого не было, и всякій дѣлалъ замѣчанія товарищу о рисункѣ.

До чего любовь къ работѣ была тогда велика, я могу привести слѣдующій курьезъ. Разъ захожу въ мастерскую къ Рѣпину. Это было въ одиннадцать часовъ утра. Рѣпинъ стоитъ во фракѣ и въ бѣломъ галстукѣ и пишетъ картину.

— Что съ вами, Ильѣ Ефимовичъ?—говорю я,—въ какомъ вы необыкновенномъ видѣ. Я васъ такимъ никогда не видалъ.

— Да,—многозначительно кивнулъ головой Ильѣ Ефимовичъ,—черезъ часъ я долженъ идти въ церковь, вѣнчаюсь. А жалко, въ часъ не успѣю нарисовать драпировку.

Да, тогда вся эта плеяда молодых художниковъ кто съ большимъ, кто съ меньшимъ талантомъ, всѣ вѣрили въ идеалъ искусства, всѣ любили работу свою, и потому всѣ свои силы, всѣ помысленія посвящали искусству. Иногда я рисовалъ у И. Н. Крамскаго. Подъ его руководствомъ я рисовалъ акварелью, но не столько самъ работалъ, сколько смотрѣлъ, какъ работаетъ этотъ магъ и волшебникъ, какъ изумительно рисовалъ онъ портреты. Бывало, при мнѣ начнетъ и такъ, шутя, въ веселомъ разговорѣ, почти безъ всякихъ поमारокъ, вѣрно схватываетъ сходство и рисунокъ. Никто съ такой легкостью, казалось мнѣ, не работалъ. Художники относились къ нему съ особеннымъ уваженіемъ; его почитали за его выдающійся умъ и за его товарищескія отношенія ко всѣмъ даровитымъ художникамъ.

Небольшого роста, но довольно крѣпкаго сложенія, онъ казался особенно интереснымъ при бесѣдахъ и спорахъ. Его умные выразительные глаза, выпуклый лобъ, говорили о его проницательномъ живомъ умѣ, не замѣчались некрасивыя другія черты лица. Говорилъ онъ очень убѣжденно, но выражался обдуманно, какъ будто боялся, что не то скажетъ.

Но ближе всего и выше всего казалась мнѣ тогда работа учителя моего, Антокольскаго. Въ особенности не могъ я оторваться отъ „Инквизиціи“. Бывало, цѣлыми днями смотрю на эту удивительно-талантливую вещь. И вотъ, прошло ужъ слишкомъ 30 лѣтъ съ тѣхъ поръ, а я все еще не могу забыть того глубокаго впечатлѣнія, какое производила эта изъ ряду выходящая работа на всѣхъ видѣвшихъ ее. И какая иногда бываетъ судьба художественнаго творенія! Эта гениальная работа заброшена самимъ художникомъ. Почти всѣ ее забыли, и неизвѣстно, выплыветъ ли она когда-нибудь на свѣтъ.

Въ этой работѣ, казалось мнѣ, заключались и глубокая мысль, и оригинальность исполненія. Предста-

вленъ въ видѣ горельефа подвалъ, со старинными каменными сводами. Общее впечатлѣніе при первомъ взглядѣ такое, что чувствуется въ этомъ подземельѣ нѣчто ужасное, опрокинуть столъ—скатерть, тарелки, подсвѣчники, все на полу. Въ паническомъ страхѣ всѣ бѣгутъ, прячутся въ огромную печь, нѣкоторые захватили съ собою молитвенники. Тутъ толпятся старики, женщины съ дѣтьми и молодые. Остались только двое. Одинъ типичный, убѣжденный, закаленный въ вѣрѣ старикъ: на него точно столбнякъ нашелъ. Другой, помоложе, испуганный, смотреть, откуда шаги. По круглой каменной лѣстницѣ спускается жирный инквизиторъ, рядомъ съ нимъ идетъ привратникъ, который освѣщаетъ ступеньки, сзади видны воины съ алебардами и цѣпями. Ужасъ охватываетъ, когда смотришь на эту интересную драму, которая до сихъ поръ, кажется, не вполне отошла въ вѣчность. Но въ то же время испытываешь особенное наслажденіе отъ талантливаго исполненія этой работы.

Въ концѣ января Антокольскій заболѣлъ: у него заболѣло горло. Знаменитый докторъ С. П. Боткинъ нашелъ болѣзнь серьезной и опасной. Меня очень огорчала болѣзнь любимаго человѣка. Я ухаживалъ за нимъ, какъ только могъ, помогалъ ставить компрессы, и ночью, бывало, плохо спалъ, все прислушиваясь къ его дыханію. Болѣзнь обострилась, и докторъ велѣлъ скорѣе ѣхать въ Италію. Сталъ онъ торопиться къ отъѣзду, пришлось подумать и обо мнѣ: куда меня дѣвать? Но, видно, ему трудно было разстаться со мной. Онъ привыкъ ко мнѣ, да и я ужъ очень былъ привязанъ къ нему. И вотъ, разъ вечеромъ, незадолго до отъѣзда, когда собрались у него товарищи-художники, онъ сталъ говорить о своемъ отъѣздѣ и о томъ, что жалко меня оставить здѣсь. Между прочимъ, онъ показывалъ имъ мою новую работу, маленькій набросокъ изъ воску. Это была сценка изъ еврейской жизни:

еврейка совершаетъ, наканунѣ субботы, обрядъ освященія свѣчей, а мужъ ея и дѣти собираются въ синагогу. „Что скажете на это?“ спрашиваетъ Антокольскій товарищей. „А вотъ что мы скажемъ: ты за эту работу, Маркъ, возьми его съ собой въ Италію“, отвѣтили всѣ въ одинъ голосъ. Точно такого отвѣта хотѣлъ и самъ Антокольскій, и черезъ нѣсколько дней мы вмѣстѣ уѣхали въ Италію.

Какъ 8 мѣсяцевъ тому назадъ я перенесенъ былъ въ столицу, увидѣлъ новую жизнь, новыхъ людей, такъ теперь, послѣ трехдневнаго путешествія, попалъ я въ новую страну, отъ зимы къ лѣту, отъ снѣга въ роскошную природу, увидѣлъ новые, чудные города. Венеція показалась мнѣ волшебнымъ городомъ. Я припоминалъ рассказы сестры о Венеціи, и все, что напоминало эти рассказы, производило на меня впечатлѣніе. Старые дома, стоящіе въ водѣ, показались мнѣ таинственными. Въ каждомъ домѣ, казалось мнѣ, совершается убійство или драма. Сидя въ гондолѣ, я прижался къ Антокольскому отъ страху, что гондольеръ нарочно опрокинетъ насъ. Очень таинственными казались мнѣ мостики; на площади, думалось мнѣ, стоятъ наемные убійцы. Объ исторіи, о времени, я тогда понятія не имѣлъ. Единственнымъ мѣриломъ для этого новаго міра были книги сестры: въ нихъ я вѣрилъ. Бывало, послѣ рассказовъ сестры, я цѣлыми днями мечталъ и фантазировалъ, представляя себѣ дѣйствительность, такъ что, увидавъ потомъ дѣйствительность, я только припоминалъ образы, созданные воображеніемъ. Но больше всего меня волновало посѣщеніе палаццо дожей и склеповъ инквизиціи. Темные подземные ходы, освѣщенные факеломъ, внушали мнѣ страхъ; казалось мнѣ, тутъ недавно совершались мученія. Ничего, что я не понималъ, что говоритъ провожатый,—я ясно себѣ все представлялъ: вотъ углубленіе—значить тутъ замуравили человѣка; тамъ отверстіе,—оттуда бросали его



въ воду; а вотъ кусокъ дерева—остатокъ орудія пытки. Весь день потомъ я былъ подъ тяжелымъ впечатлѣніемъ кошмара и ночью плохо спалъ.

Зато Флоренція произвела на меня впечатлѣніе противоположнаго свойства: тутъ все живутъ люди добрые, точно ангелы. По рассказамъ сестры, это городъ процессій, городъ Рафаелей и добрыхъ покровителей Медичисовъ. Мнѣ нравилось здѣсь все; и зданія, и сады, и церкви. Здѣсь мы нашли нѣсколько русскихъ художниковъ. Часто бывали у Каменскаго. Нѣкоторые его работы мнѣ чрезвычайно нравились; я мечталъ о такомъ жанрѣ скульптуры. Его „Мальчикъ-скульпторъ“ показался мнѣ прекраснымъ, но „Первый шагъ“ меня не совсѣмъ удовлетворялъ. Бывали мы въ мастерской Забелло: онъ тогда лѣпилъ превосходную статую Герцена.

Нѣсколько дней прожили мы во Флоренціи очень пріятно. Ко многому, слышанному мною о Римѣ, прибавилось еще то, что городъ этотъ взятъ королемъ у папы, и это случилось за мѣсяць до нашего пріѣзда. По дорогѣ я слышалъ разговоры, какъ войска Виктора-Эммануила вошли въ Римъ и тамъ стрѣляли. Представилъ я себѣ городъ въ развалинахъ; но когда мы пріѣхали въ Римъ, я напрасно искалъ слѣдовъ завоеванія, и скоро совсѣмъ забылъ, кому онъ принадлежитъ. Въ общемъ, Римъ отчего-то мало мнѣ понравился. Больше всего меня поразили Колизей и нѣкоторыя другія развалины. Соборъ „Святого Петра“ и „Ватикнъ“ я не понималъ: Эрмитажъ казался мнѣ красивѣе.

Но зато тутъ было большое общество русскихъ. Съ русскими мы проводили всѣ вечера, вмѣстѣ обѣдали и затѣмъ долго сиживали въ Café Greco. Разъ мы сидѣли цѣлой компаніей художниковъ. Какой-то торговецъ-итальянецъ предлагаетъ купить бумагу и конверты. „Смотри, Эліасъ“, говоритъ Антокольскій, „это непременно еврей“. „Даже похожъ на нашего польскаго еврея“. Боткинъ спрашиваетъ торговца, кто онъ, но

тотъ по-итальянски отвѣчаетъ, что онъ правовѣрный католикъ. „Это неправда“, прибавляетъ Боткинъ, „онъ изъ боязни, чтобъ его не дразнили, скрываетъ свое еврейство“. Тогда Антокольскій обращается къ торговцу и говоритъ по древне-еврейски: „Іегудо онойхи“ (я еврей). Торговецъ весь просіялъ и сказалъ: „Махаръ швогатъ“ (завтра Пятидесятница). Меня очень обрадовало это, и Антокольскій предложилъ мнѣ провести завтрашній день у этихъ евреевъ. Я охотно согласился, и еврей за извѣстную плату свезъ меня въ гетто.

Тамъ меня водили къ раввину, какому-то именинному еврею; вездѣ меня угощали, но не могли со мной объясняться, и только къ вечеру достали переводчика нѣмца. Меня поразила страшная бѣдность въ гетто: такая же точно, какъ въ Вильнѣ. Что касается до религиозныхъ обрядовъ и до молитвъ въ синагогѣ, то они ничѣмъ не отличались отъ нашихъ.

Наступила жара невыносимая; я утомился и часто сталъ отказываться отъ прогулокъ, отъ посѣщенія музеевъ. Антокольскій уходилъ на весь день, оставляя меня одного въ квартирѣ, и тогда я углублялся въ чтеніе повѣстей и рассказовъ. Я сталъ скучать по петербургскимъ знакомымъ, а главное—слѣдовало подумать и о своемъ образованіи. Въ Италіи мнѣ трудно было оставаться, и рѣшено было отправить меня учиться въ Петербургъ. Но какъ? Языковъ я не зналъ, и ѣхать одному было невыносимо. И вотъ кстати получается извѣстіе изъ Флоренціи, что тамъ проездомъ изъ Швейцаріи остановилась дама, которая ѣдетъ въ Петербургъ. Я немедленно отправился во Флоренцію, и художникъ Каменскій познакомилъ меня съ этой дамой. Это была еще очень молодая, на видъ 18 лѣтъ, вдова Мордвинова, урожденная кн. Оболенская (впослѣдствіи она вышла замужъ за С. П. Боткина). Ее сопровождала другая дама, постарше, компаньонка ея. Онѣ чрезвы-

чайню мнѣ понравились своей простотой и любезностью, и я, не стѣсняясь тѣмъ, что плохо говорилъ по-русски, всю дорогу рассказывалъ имъ, какъ жилъ въ провинціи, какъ учился въ европейской школѣ и какъ началъ работать. Но больше всего распространялся я о петербургскихъ знакомыхъ, какіе они добрые и какъ всѣ меня любили. „Чудесные люди въ Петербургѣ — говорилъ я, — всѣ такіе добрые и любезные“. — „Ну и тѣ, не всѣ“, возразила мнѣ молодая, но ужъ нѣсколько разочарованная вдова. „Поживете тамъ, увидите, сколько злыхъ; да и злыхъ-то неизмѣримо больше, чѣмъ добрыхъ“.

Подъѣзжая къ Вильнѣ, Е. А. сказала: „Здѣсь будутъ ждать меня родственники, у которыхъ я останусь нѣсколько дней. Вотъ мой петербургскій адресъ (у графа Сумарокова); приходите ко мнѣ туда: буду вамъ давать уроки“.

Когда поѣздъ остановился, къ намъ въ купѣ вошло много военныхъ; всѣ засуетились, послышалось: Посторонитесь! Генераль-губернаторъ идетъ! Меня оттиснули въ уголъ. Я испугался, и въ общей суматохѣ, не простившись съ моими любезными спутницами, схватилъ свой чемоданчикъ, выскочилъ на улицу и поѣхалъ къ бабушкѣ. Потомъ я узналъ, что Е. А. долго меня искала, что губернаторъ—ея дядюшка и что посылали денщика искать мою бабушку, которую, конечно, не нашли, ибо она жила на еврейской улицѣ, чуть-ли не на чердакѣ и, какъ водится у бѣдныхъ евреевъ, по фамиліи не называлась. Кромѣ бабушки, у меня въ Вильнѣ тогда никого изъ родныхъ не оказалось. Мать съ братьями и сестрами послѣ смерти дѣдушки перѣехали въ другой городъ. Но я охотно жилъ у бабушки, вспоминая прежнюю жизнь.

Передъ отъѣздомъ бабушка свела меня на могилу дѣдушки и отца. Войдя въ часовню дѣдушки, бабушка нагнулась близко къ могилѣ и громко сказала: „Здрав-

ствуй, Гиршъ, пришла твоя жена Ривка, привела твоего внука Эліе“. Взявъ меня за руку, она наклонила мою голову къ могилѣ, затѣмъ стала рассказывать о своихъ дѣлахъ, о всемъ, что дѣлаетъ и о чемъ думаетъ. Передъ уходомъ она обратилась въ сторону къ другимъ могиламъ и сказала: „Сосѣди, можетъ быть, мой мужъ ушелъ, или занятъ. Скажите ему, что была жена Ривка, привела внука“ и т. д. Эта же сцена повторилась на могилѣ моего отца; только тутъ она обратилась ко мнѣ съ упрекомъ: „Что же не плачешь? Поплачь!“ Но я стоялъ какъ вкопанный, моргалъ глазами, хотѣлъ хоть искусственно вызвать слезы, уцепивъ преобильно свой палецъ,—но слезы все не шли. Мнѣ досадно стало. Сталъ я припоминать любимого дѣдушку (отца я совсѣмъ не зналъ), и вспомнилъ я рассказы сестеръ, какъ онъ умеръ. Это было такъ необыкновенно: съ утра онъ объявилъ, что умираетъ, самъ переодѣлся въ чистое бѣлье, велѣлъ зажечь свѣчи и легъ, позвалъ дѣтей и внуковъ и сталъ всѣхъ благословлять. Бабушка хлопотала, сутилась, убирала комнату, точно собиралась къ празднику Іомъ-кипуръ. Похороны были многолюдны, и въ этотъ день бабушка обѣдала у насъ. Собравъ остатки кушанья, она сказала: „Это я снесу Гиршу“. И дома она долго не могла привыкнуть къ одиночеству, все готовила обѣдъ для двухъ. Для нея онъ не могъ умереть: слишкомъ 60 лѣтъ они жили вмѣстѣ. Разговоры бабушки на кладбищѣ показались мнѣ смѣшными, но на меня тогда уже произвела глубокое впечатлѣніе эта искренняя вѣра въ безсмертіе.

Въ Петербургъ я пріѣхалъ лѣтомъ, когда всѣ еще были на дачахъ. Я пожалѣлъ, что такъ скоро уѣхалъ изъ Італіи; и принялся за ученіе. Меня учила грамотѣ Софья Владиміровна Сербина. Русскій языкъ я все еще плохо зналъ, и потому о гимназіи нечего было и думать. Кромѣ того, по лѣтамъ я ужъ не могъ поступить въ низшій классъ.

Мнѣ былъ тринадцатый годъ и я еще грамоты не зналъ. Въ хедерѣ я только обучался Библіи и Талмуду: ничему другому тамъ не учили, да и некому было учить: меламедъ (учитель)—это набожный, честнѣйшій еврей, занимающійся преподаваніемъ только по бѣдности; ни на что другое онъ неспособенъ. Въ общежитіи евреевъ, меламедъ—синонимъ непрактичности и забитости. Никакой системы, никакой программы въ ученіи нѣтъ, и каждый реббе (также учитель) учить какъ знаетъ и умѣетъ. Мой послѣдній реббе былъ старикъ, сгорбленный, подслѣповатый, очень добрый и мягкосердечный. Его единственною страстью былъ нюхательный табакъ, которымъ всегда набить былъ его распухшій носъ. Онъ занималъ полкомнаты у портного; рядомъ жилъ сапожникъ, а въ маленькой передней—бондарь. У всѣхъ было многочисленное семейство, но шумъ ребятишекъ, стукъ бондаря намъ не мѣшали: мы читали Талмудъ громко, нараспѣвъ, такъ что наши голоса слышны были на другой улицѣ. Насъ, учениковъ, было шесть мальчиковъ, все дѣти бѣдныхъ евреевъ, которые съ трудомъ платили реббе за ученіе. Моя мать въ послѣдніе два года по бѣдности совѣмъ не платила за меня, но реббе мною дорожилъ: я такъ хорошо учился, что служилъ примѣромъ для другихъ, и иногда реббе поручалъ мнѣ объяснять трудныя мѣста Талмуда своимъ товарищамъ. Шалуны мы были отчаянные. Иногда, пользуясь близорукостью реббе, мы разбѣгаемся и прячемся въ одной изъ бричекъ, стоявшихъ на дворѣ. Бывало, реббе бѣжитъ по двору, насъ ищетъ, заглядываетъ то въ одну, то въ другую бричку; мы его видимъ, но, затаивъ дыханіе, ждемъ, и наконецъ, когда онъ насъ накрываетъ, то вразсыпную бѣжимъ отъ него въ разныя стороны. Перваго попавшагося ему подъ руку онъ тащитъ за ухо къ себѣ. Я рѣдко попадался ему; ибо быстро бѣгалъ и всегда во-время его замѣчалъ. Въ зимніе холодные вечера, въ то время, когда реббе послѣ

обѣда спать, мы всѣ садились на печь и рассказывали другъ другу страшныя сказки. Иногда, бывало, мы при-саживаемся къ слѣпой старухѣ, матери портного, и она намъ рассказываетъ о еврейскихъ праведникахъ и о чудесахъ. Хотя я хорошо учился, но Талмудъ меня не занималъ; кромѣ анекдотовъ, въ немъ иногда встрѣчающихся, все было совершенно чуждо моей дѣтской натурѣ. Но зато дома я ужасно увлекался рассказами сестры. Этими рассказами я жилъ и о нихъ постоянно думалъ. Въ особенности мастерица рассказывать была вторая сестра моя, Двойра. Еврейскія дѣвочки набожныхъ, и въ особенности бѣдныхъ родителей, находятся въ особенныхъ условіяхъ: ихъ не обучаютъ ничему тому, чему учатся мальчики. Имъ не обязательны молитвы въ синагогѣ и многія другія обрядности. Вообще, еврейки по отношенію религіозныхъ обрядностей считаются также неспособными, какъ и мальчики, не достигшіе 13-лѣтняго возраста. Оттого еврейскія дѣвочки болѣе чѣмъ мальчики имѣютъ возможности учиться свѣтскимъ наукамъ, т.-е. читать и писать на другихъ языкахъ. Страсть ихъ къ ученію такъ велика, что нѣкоторыя дѣти не останавливаются ни передъ чѣмъ, лишь бы научиться грамотѣ. Моя сестра Берта зимою, въ морозъ, въ одномъ платьицѣ бѣгала тайкомъ отъ матери къ подругѣ гимназисткѣ, и тамъ училась грамотѣ. Она брала также уроки русскаго языка у стараго спившагося отставного полковника, сжалившагося надъ жаждущей знанія дѣвочкой. Такимъ образомъ научились мои сестры рано читать и писать по-нѣмецки и по-русски. Онѣ проглатывали неимоверное количество книгъ, иногда читая книгу всю ночь на пролетъ, чтобы избѣжать неудовольствія матери. Читалось все безъ разбору, что имѣлось въ убогой библіотекѣ, гдѣ книги пріобрѣтались на пудъ: старыя нѣмецкіе романы конца XVIII вѣка, „Три мушкетера“, „Тайны Мадридскаго двора“, и тутъ же Шиллеръ, Гете,

Вальтеръ-Скоттъ; все это читалось безъ всякаго порядка. Въ свободное время, вечеромъ, сестра, бывало, рассказываетъ содержаніе прочитаннаго и съ особеннымъ увлеченіемъ. Я всегда умолялъ, просилъ, чтобы меня допускали къ слушанію этихъ рассказовъ, охотно исполняя всѣ порученія сестры, во всемъ слушался, лишь бы не быть лишеннымъ этого удовольствія. Всѣмъ существомъ я проникался этими вымыслами, и цѣлыми днями о нихъ думалъ и ими бредилъ. Такимъ образомъ, съ одной стороны чуждые моему пониманію, моей дѣтской жизни трактаты Талмуда развивали мою память и изощряли мой умъ, съ другой стороны увлекательные рассказы о чуждыхъ мнѣ людяхъ, о невѣдомыхъ странахъ дѣйствовали на мою фантазію и развивали во мнѣ мечтательность. Знаній же я никакихъ тогда не получалъ, и потому поздно пришлось приступить къ настоящей грамотѣ.

Въ Петербургѣ я поступилъ въ частный пансіонъ англичанина Гирса. Плата за ученіе была тамъ высокая и учились тамъ дѣти богатыхъ родителей, но дѣти избалованныя, ничему не выучившіяся дома. Изъ-за русскаго языка меня приняли въ приготовительный классъ, но черезъ два мѣсяца перевели въ первый. Учителя были порядочные, и я охотно учился, но много терпѣлъ отъ товарищей: меня преслѣдовали за мое еврейство, бросали въ мои густые волосы перья, смѣялись надъ моимъ произношеніемъ, хотя товарищи англичане не лучше меня произносили русскія слова. Во время рекрецій, бывало, меня окружать, притиснуть въ уголъ; одни держатъ меня за руки, другіе за голову, третьи суютъ мнѣ въ ротъ крестъ, приговаривая: „Цѣлуй!“ Я себя спрашивалъ: за что это меня такъ мучаютъ? Куда дѣлись тѣ добрые люди, которые меня зимой такъ ласкали? Знали бы всѣ тутъ, какіе у меня были знакомые, о чемъ говорили! Знали бы, что я художникъ,—счастливіе ихъ всѣхъ. Но сказать этого я

не могъ: не повѣрять, да и не поймутъ. Въ особенно-сти мнѣ ужасно доставалось отъ учениковъ старшаго класса. То были взрослые мальчики, отчаянные шалуны, которымъ не повезло въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ, и здѣсь, какъ послѣднее средство, ихъ приготавливали къ кадетскому корпусу. Бывало, меня поймають и начнутъ дразнить: „Это ты распялъ Христа“. И такъ пристанутъ, что я кричу: „Да, я распялъ!“—„Бей его“, кричатъ товарищи. Я вскакиваю на столъ, со стола на скамейку, обѣгаю весь классъ, и ловко выворачиваюсь отъ преслѣдователей. Но меня за ногу ловятъ и немилосердно бьютъ. Случалось, домой возвращаюсь съ синяками на лицѣ. Разъ директоръ случайно зашелъ въ классъ въ то время, какъ я, стоя на столѣ, отмахивался отъ преслѣдователей линейкой. Начался строжайшій допросъ. Товарищей я не выдалъ, сказалъ, что мы только такъ играли. Съ тѣхъ поръ многіе оставили меня въ покоѣ.

Въ пансіонѣ я учился годъ дальше тамъ оставаться не имѣло для меня смысла. Во-первыхъ, слишкомъ дорого стоило ученіе, при томъ это заведеніе, по окончаніи, не давало правъ. Мнѣ всѣ совѣтовали поступить въ казенное заведеніе и тамъ кончить курсъ. „Надо сперва быть образованнымъ человѣкомъ“, говорили мнѣ всѣ хорошіе знакомые. Антокольскій тогда писалъ мнѣ изъ Италіи: „Я постоянно виню себя въ томъ, что не учился, постоянно чувствую неудобство отъ того, что не получилъ систематическаго образованія. Ты не долженъ повторить мою ошибку, и хотя въ Академіи для поступленія требуются 4 класса, но ты кончай весь гимназическій курсъ. Кто образованъ, тотъ сознательно работаетъ. Если у тебя способности есть, ты ихъ и черезъ нѣсколько лѣтъ не потеряешь“.

Какъ мнѣ было не слушаться такихъ совѣтовъ, и, позанявшись серьезное цѣлое лѣто (меня учила Екатерина Алексѣевна Мордвинова), я приготовился къ 3-му



классу и осенью поступилъ во 2-е реальное училище. Оно было только что основано; туда трудно было попасть, но у меня было рекомендательное письмо къ директору. Тогда директоромъ былъ Р., человекъ въ высшей степени педантичный, педагогъ въ самомъ узкомъ смыслѣ этого слова. Послѣ распушенности пансіона, здѣсь поражалъ порядокъ и дисциплина. Цѣлые дни тратились на объясненіе порядка и формы послушанія. Большая часть урока уходила на разсматриваніе дневниковъ, какъ записывать уроки и какія обязанности у ученика. Съ одной стороны я былъ радъ, что товарищи здѣсь меня не дразнили, а о преслѣдованіи не было и рѣчи. Всякое движеніе, всякое слово, сказанное товарищу, было подмѣчаемо и все находилось подъ бдительнымъ окомъ надзирателя. На зато чувствовалось и полное одиночество и тоскливость. Всѣ были заняты собою, всякій жилъ подъ страхомъ, не забылъ ли онъ какой-нибудь обязанности, исполнилъ ли онъ всѣ предписанія. Учителя были въ томъ же положеніи. Они боялись директора, и ихъ не столько занималъ урокъ, сколько порядки и рамки уроковъ.

Началось настоящее ученіе, и не успѣлъ я познакомиться съ интересующими меня предметами, какъ явилось томленіе и тоска. Все преподавалось въ такихъ дозахъ, такъ сухо, безъ всякой связи, что скоро, вмѣсто того, чтобы учиться для удовлетворенія своей любознательности, я сталъ автоматически „приготавливать уроки“ и зубрить, и такъ продолжалъ заниматься до конца курса. Соблюденіе ненужныхъ мелочей (подъ кличкою порядка) внушалось не только во время уроковъ, но и внѣ ихъ; во время отдыха, во время гимнастики и гулянья преслѣдовалась одна цѣль: вытравить личность мальчика и взамѣнъ того вселить въ него какой-то мертвый шаблонъ. Въ особенности несносны мнѣ были требованія точныхъ отвѣтовъ. Я бѣгу по лѣстницѣ; внизу наталкиваюсь на самого директора.

„Что ты сейчасъ, голубчикъ, дѣлалъ?“ вопрошаетъ страшный судья.—„Шелъ по лѣстницѣ“.—Надо сказать: спускаться“. — „Спускался“. — „Нѣтъ, не спускался, а бѣжалъ“. — „Бѣжалъ“. — „А что надо дѣлать?“ — „Ходить“. — „Нѣтъ, спускаться“. — „Спускался“. И вотъ подобные вопросы и отвѣты постоянно слышались во всѣхъ коридорахъ, классахъ, а иногда, при экстренныхъ случаяхъ, въ кабинетѣ самого директора.

Тотъ же методъ употреблялся учителемъ и на урокахъ: не позволялось передавать свободно своими словами то, что заучивалось по книжкѣ, и часто бывало, что ясный отвѣтъ ученика бракуется, и на его мѣсто рекомендуются ходульные слова. Но все-таки многіе учителя сглаживали и уменьшали ту нелѣпость и вздорность, которыми наполнены были учебники, обязательные для всѣхъ учащихся. Въ учебникѣ географіи Смирнова мы охотно заучивали наизусть всякій вздоръ и преподносили его учителю—это насъ забавляло. Городъ Прага: „Знаменитъ мостомъ святого Непомука. Этотъ священникъ на одной исповѣди не хотѣлъ выдать важной тайны“. Неаполь: „Взгляни на Неаполь и умри“ и больше ничего. Брѣкъ (Голландія): „Знаменитъ тѣмъ, что тамъ хвосты коровъ привязываютъ къ стойлу, чтобы не пачкать полъ“.—Больше ничего. Венеція „Городъ; вмѣсто улицъ—каналы, вмѣсто каретъ—гондолы“ и т. д. Это только при названіяхъ; но тамъ, гдѣ надо было охарактеризовать мѣстность, народность или сдѣлать обобщеніе, тутъ мы заучивали цѣлыя фразы, не понимая ихъ смысла. Исторія (учебникъ Белярминова) была и того хуже. У насъ составилось убѣжденіе, что все, что написано крупнымъ шрифтомъ, обязательно для ученія, но неинтересно; гораздо болѣе интересовало насъ то, что написано мелкимъ шрифтомъ; но по лѣности, чтобы меньше учиться, мы ограничивались однимъ крупнымъ шрифтомъ. Нѣкоторые анекдоты по ничтожеству своему не уступаютъ „привязыванію хвостовъ

къ стойлу“. Въ исторіи намъ представились порядки нашего же училища: точно мы попарно отправляемся на гимнастику,—такъ отправляются люди на войну, и какъ наши дневники сохранялись въ порядкѣ, такъ и хронологія была нарочно приурочена къ ученію: никакой связи, никакой жизненной правды не было. Заучивалось многое такое, что должно было повліять на сомолюбіе и нѣкоторые инстинкты мальчика. Не лучше казалось мнѣ преподаваніе русскаго языка и словесности, этого самаго важнаго предмета, и въ особенности рутинное преподаваніе синтаксиса и логики. Не зная и не чувствуя русскаго языка, я бы долженъ былъ хуже всѣхъ учиться, но на самомъ дѣлѣ, благодаря тому, что предметъ этотъ имѣлъ сходство съ знакомымъ мнѣ схоластическимъ Талмудомъ, я получалъ лучше отмѣтки, чѣмъ другіе. Еще когда дѣло шло о правописаніи и этимологіи, кое-какая польза получалась. Но при преподаваніи логики всякій смыслъ терялся, и чѣмъ больше усваивали этотъ катехизисъ слова, именуемый синтаксисомъ, тѣмъ хуже начинали понимать истинный духъ языка.

Впрочемъ, случалось, что личная инициатива учителя вносила живую струю, но это совершалось келейно, секретно отъ директора. Учитель русскаго языка, С., иногда спрашивалъ, какія книги читаются дома, и нѣкоторыхъ просилъ изложить вкратцѣ прочитанное. Учитель естественной исторіи также оживлялъ свой предметъ устными разсказами. Обхожденіе учителей съ учениками было всегда безучастное, холодное, но не злое. Но было одно исключеніе въ этомъ мірѣ порядка и законности, кажется, единственный примѣръ въ Петербургѣ: это учитель географіи Владимірскій. Рыжій, высокій, плечистый; при разговорѣ мигалъ и закатывалъ глаза наверхъ, ноздри у него раздувались и онъ втягивалъ въ нихъ воздухъ, точно обнюхивалъ ученика, чтобы все отъ него развѣдать. Онъ иногда на

урокъ таскалъ ученика за уши и пребольно трепаль по щекъ. Меня онъ вызываль къ доскѣ не иначе, какъ, „Жидъ, поди сюда!“ и показывая на карту, спрашиваль: „Гдѣ жиды живутъ? Что, теплый народецъ?“ Товарищ мой, другой еврей, возмутился этимъ, пожаловался отцу, а тогъ директору. Но черезъ два мѣсяца несчастный ученикъ долженъ былъ выйти изъ училища, ибо онъ получаль круглые нули. Курьезно то, что этотъ учитель, наводившій страхъ на весь классъ своею грубостью, былъ въ большомъ почетѣ у директора. Онъ былъ библіотекаремъ и класснымъ наставникомъ. Узнавъ, что я лѣплю, онъ заставилъ меня лѣпить карты. Я всѣ уроки забросилъ и работалъ только для него. Карты оставлялись въ училищѣ; я, правда, получаль за нихъ награды, но „предметы“ и географію въ особенности меньше всего зналъ.

Но нѣтъ худа безъ добра: безучастно относясь къ занятіямъ въ классѣ, я дома удовлетворялъ свою любознательность чтеніемъ, прочелъ многихъ русскихъ писателей и нѣкоторыхъ классиковъ. Въ книгахъ я искалъ не только свѣдѣній научныхъ, но хотѣлось мнѣ примирить нѣкоторыя противорѣчія, которыя меня мучили. Въ особенности хотѣлось мнѣ разобрать, почему существуетъ такой разладъ въ обращеніи со мной, какъ съ евреемъ. Съ одной стороны, Владимірскій съ его грубыми выходками, съ другой стороны—русскіе хорошіе знакомые, очень образованные и толерантные люди. Сталъ я знакомиться съ другими существующими религіями, прочелъ Евангеліе, прочелъ весь Коранъ и исторію евреевъ. Эти религіозные вопросы бродили у меня въ головѣ нѣсколько лѣтъ, и въ концѣ концовъ создали такой хаосъ понятій, что я долженъ былъ ихъ оставить, не узнавъ ничего существеннаго касательно мучившаго меня вопроса. Въ одномъ только я убѣдился тогда же: что Владимірскіе и ихъ дѣти совершенно невѣжественны въ вопросахъ о національ-

ности и о религіи, но по инстинктамъ своимъ они сходны съ тѣми лавочниками, которые на Вознесенскомъ проспектѣ показывали мнѣ свиное ухо, или съ тѣми шалунами въ пансіонѣ, которые совали мнѣ крестъ въ ротъ.

Кончилъ я реальное училище, сдалъ 22 экзамена, устныхъ и письменныхъ, на-чисто и въ брульонахъ. Я зналъ наизусть какіе то параграфы; правила, формулы и числа; все это бродило у меня въ головѣ безъ связи, безъ всякой нужды. Зато получилъ аттестатъ, дающій мнѣ права. Теперь могу поступить въ академію, куда такъ стремился и для чего потратилъ столько лѣтъ и пріобрѣлъ столько знаній.

Во все время нахождения въ училищѣ, я скульптуру забросилъ, да и некогда было искусствомъ заниматься. Рисованіе, которое преподавалось въ училищѣ, мало подвинуло меня впередъ. Правда, мнѣ давали рисовать вещи внѣ программы, но учитель всегда требовалъ чистаго исполненія и штриховки, и за это я получалъ награды и былъ даже освобожденъ отъ платы. И отъ міра художниковъ я отсталъ за это время: многіе развѣхались, а къ другимъ некогда было ходить.

Воскресныя мои посѣщенія Стасовыхъ были единственнымъ моимъ отдыхомъ и развлеченіемъ. Тамъ я слышалъ разговоры о томъ, что происходитъ въ столь интересующемъ меня мірѣ художниковъ, слушалъ часто музыку и чтеніе новыхъ литературныхъ произведеній. Бывало, иногда послѣ обѣда, Надежда Васильевна Стасова садится возлѣ меня и начинаетъ меня спрашивать, какъ живу, что подѣлываю, не нуждаюсь ли въ чемъ-нибудь, не притѣсняютъ ли меня, какъ еврея? При этомъ она сама рассказывала, какъ ей приходится видѣть много горя, какъ еврейки, пріѣзжающія учиться, терпятъ нужду и съ какимъ трудомъ онѣ поступаютъ въ учебныя заведенія. Въ то время моя сестра Берта была уже въ Петербургѣ. Послѣ моего отъѣзда изъ

Вильны, двое изъ семьи послѣдовали моему примѣру и уѣхали учиться: старшій братъ, который раньше хлопоталъ о моемъ отъѣздѣ, самоучкой въ 2 года приготовился въ послѣдній классъ гимназіи: черезъ годъ, сдалъ всѣ экзамены и поступилъ въ Петербургъ въ институтъ путей сообщенія; другая сестра поступила въ женскую гимназію. Ей нечѣмъ было жить, и добрая Надежда Васильевна поселила ее въ домъ „Дешевыхъ квартиръ“. Здѣсь она и жила на очень скудныхъ средства. Разговоры съ Надеждой Васильевной всегда были для меня очень пріятны. Она затрагивала тѣ стороны моей жизни, о которыхъ съ другими я стѣснялся говорить. Владиміръ Васильевичъ разспрашивалъ всегда, какъ учусь, что читаю, и давалъ мнѣ книги для чтенія на всю недѣлю. Я оставался у Стасовыхъ всегда очень поздно.

Иногда я также заѣзживалъ къ А. В. Прахову. Онъ тогда стоялъ во главѣ изданія журнала „Пчела“. У него бывало всегда шумное общество, все люди разныхъ профессій и разнаго характера: бывали профессора, художники, студенты и люди совсѣмъ мнѣ неизвѣстные. Скульпторъ Микѣшинъ, со своей представительной фигурой, импонировалъ красивыми рѣчами. Всѣ его слушали съ подобострастіемъ. „Это гениальный художникъ, будущность Россіи“, говорили нѣкоторые студенты. Часто Праховъ читалъ свои статьи и объ искусствѣ. Много спорили и говорили о полемикѣ, игравшей тогда большую роль въ журналистикѣ. Иногда, умнѣйшій, талантливый Кони увлекательно рассказывалъ, и всѣ слушали его съ восторгомъ. Самъ Адріанъ Викторовичъ, обладая способностями къ рисованію, часто затѣвывалъ приготовленіе рисунковъ для своихъ лекцій или для изданія, и тогда многіе принимали участіе въ этой общей работѣ. Молодые и старые—всѣ чувствовали себя тутъ хорошо; всѣ веселились.

Итакъ, окончивъ реальное училище и получивъ

аттестатъ, я о своей радости написалъ Антокольскому, находившемуся тогда въ Парижѣ. Это было въ 1878 году. Въ это время въ Парижѣ была всемірная выставка. Антокольскій получилъ médaille d'honneur, орденъ и большіе заказы. Онъ былъ счастливъ; вспомнилъ обо мнѣ и послалъ мнѣ деньги, чтобы я пріѣхалъ въ Парижъ, съ нимъ повидаться и выставку посмотреть. Я въ восторгѣ, собираюсь къ отъѣзду, но задержка съ паспортомъ: не хватаетъ документа о припискѣ къ воинской повинности. Мнѣ совѣтуютъ поѣхать въ Гродно, откуда мои бумаги: тамъ приписаться и тамъ же взять заграничный паспортъ.

Въ Гроднѣ заѣзжаю къ моему дядюшкѣ, и отъ него узнаю, что всѣ мои документы были сфабрикованы имъ же, что онъ, состоя чѣмъ-то при еврейской общинѣ, изъ любви къ намъ, при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ устраивалъ наши дѣла. Мое метрическое свидѣтельство затерялось еще въ дѣтствѣ, и когда мнѣ надо было поступить въ училище, то онъ мнѣ прислалъ нѣчто замѣняющее метрическое. Когда же я достигъ возраста, и надо было приписаться къ призывному участку, то онъ сталъ сбавлять мнѣ года, и чѣмъ старше я становился, тѣмъ моложе значился въ книгахъ. Эти свѣдѣнія меня ужасно опечалили. Я пробовалъ безъ дядюшки хлопотать въ Думѣ и въ участкѣ, но со мной такъ грубо обращались, что я опять прибѣгнулъ къ этому же дядюшкѣ. Тутъ я впервые столкнулся съ жизнью провинціальныхъ учреждений. Мнѣ больно было видѣть, какъ дядюшка низкопоклонничаетъ передъ мелкими чиновниками. Не стѣсняясь, въ присутствіи всѣхъ, онъ давалъ взятки мѣдными пятаками. По правиламъ, возрастъ еврея, у котораго нѣтъ вѣрнаго документа о рожденіи, опредѣляется по наружному виду приставомъ.

Усталый отъ всѣхъ хлопотъ, убитый, прихожу въ участокъ. Приставъ останавливаетъ меня на порогѣ.

— Стой тутъ. Это тебѣ, жидъ, надо возрастъ опредѣлить? Сколько тебѣ лѣтъ?—установивъ на меня красные глаза, вопрошаетъ начальникъ.

— Девятнадцать,—говорю я робко.

— Неправда! Ишь глазища какія! Тебѣ 21 годъ.

Пробую я протестовать, говорю, что мать сказала.

— Что знаетъ твоя мать! Можешь уходить, — говорить сердито приставъ, и велить помощнику писать: 21 годъ.

Оскорбленный, грустный, вышелъ я на улицу. „Почему это такъ унижаютъ меня? Какое обращеніе! Вѣдь я кончилъ реальное училище, находился между хорошими людьми. Неужели меня, какъ еврея, всегда будутъ ругать и на порогъ не пускать?“

Послѣдствія постановленія пристава были печальны: во-первыхъ, ввиду того, что я оказался 21 года, меня привлекли къ суду за то, что до 21 года не приписался къ участку. Судили меня, впрочемъ, не строго: я заплатилъ штрафу всего 1 рубль. Затѣмъ, выдавъ мнѣ свидѣтельство о припискѣ, приставъ мнѣ сообщилъ, что ввиду того, что мнѣ 21 годъ (по его же опредѣленію), онъ не выдастъ мнѣ свидѣтельства для паспорта. Это какъ ударъ грома поразило меня. Изъ-за этого паспорта я пріѣхалъ, изъ-за него терпѣлъ столько униженій и непріятностей! Я, былъ въ отчаяніи, просилъ, но приставъ былъ неумолимъ. Видно, мое горе было очень велико, если письмоводитель канцеляріи обратился ко мнѣ съ совѣтомъ:

— Охота вамъ хлопотать! Достаньте себѣ маленькій паспортъ и поѣжайте съ Богомъ.

— Какой маленькій паспортъ?—спрашиваю я, обрадовавшись, что есть надежда.

— Чудакъ вы, — отвѣчаетъ чиновникъ при общемъ смѣхѣ всей канцеляріи,—точно вы не знаете, что можно достать у мѣстныхъ евреевъ паспортъ за 5 рублей. Оно дешевле, да и охота вамъ къ намъ шляться.



Посоветовали мнѣ также пойти къ губернатору, но и тамъ въ канцеляріи сказали, что паспортъ мой затянется на мѣсяца, пока получится разрѣшеніе отъ министра; но можно и раньше—тогда это будетъ стоить 10 руб. лишнихъ.

Мнѣ это все такъ надоѣло, я былъ такъ измученъ физически и морально, что бросилъ все, написалъ Антокольскому, что не могу пріѣхать, а самъ вернулся въ Петербургъ, гдѣ все-таки чувствовалъ себя подъ защитой нѣкоторыхъ добрыхъ людей. Исторія съ паспортомъ была только началомъ цѣлаго ряда непріятностей, и зимой этого же года началась настоящая моя одиссея по отбыванію воинской повинности. Исторію эту расскажу я потомъ со всѣми подробностями.

Въ Петербургѣ я скоро забылъ и неудавшееся заграничное путешествіе, и гродненскія непріятности. Мнѣ предстояло держать экзаменъ въ академію: но у меня не было тѣхъ стремленій и волненій, которымъ обыкновенно подвергаются поступающіе въ спеціальное заведеніе. Академію я уже зналъ раньше, мнѣ были знакомы всѣ классы, коридоры, служителя, я зналъ даже нѣкоторыхъ профессоровъ. Рисоваль я недурно, и на экзаменѣ мой рисунокъ оказался однимъ изъ лучшихъ. Первое, что меня притягивало, это—скульптурный классъ, и какъ только занятія начались, я устремился туда рано утромъ. Всѣ ученики были въ сборѣ, ждали профессора. Пока же мы разсматривали бюсты и статуи, которые, впрочемъ, мнѣ и до того были знакомы. Служитель-солдатъ Илья, много лѣтъ проводившій въ этомъ классѣ сторожемъ, намъ объяснялъ названія бюстовъ и статуй. „Вотъ это Люциферъ“, сказалъ онъ, шепелявя и подмигивая однимъ подслѣповатымъ глазомъ. „Это Аполлонъ съ ящерицей, а тамъ съ лукомъ. Вотъ Антиной; не надо его путать съ „Бахомъ“. У того на головѣ кочанъ, ананасъ“. Такъ онъ перечелъ всѣ статуи, точно упоминалъ своихъ бывшихъ

товарищей по полку. Конечно, большинство названий было намъ чуждо; нѣкоторые не знали даже, имена ли это историческія, или мифологическія. Были новички, которые впервые видѣли статуи. „Посмотри“, говоритъ длинный, худой сибирякъ, въ русской рубашкѣ и въ высокихъ сапогахъ, обращаясь къ земляку, горбатенькому, „вотъ Херкулесъ. Какой, должно быть, былъ дуракъ набитый. Говорятъ онъ, жену свою покалечивалъ“. „А кто эта мамка съ кокошникомъ?“ спрашиваетъ другой, указывая на Юнону. Останавливаемся передъ Лакоономъ. „Вотъ здорово! говоритъ горбатенькій. „Это, пожалуй, самая лучшая группа“. — „Вотъ ужъ не попалъ, — возражаетъ ученикъ старенькій, съ порядочной лысиной. Лѣтъ 6 онъ ужъ занимается въ скульптурномъ классѣ. — Эта группа относится ко времени упадка. Вишь какіе мускулы! Какъ мѣшки; не то что у Аполлона“. — „А что это, господа“, говоритъ молоденькій новичокъ, „женщина или мужчина?“ указывая на молодого Аполлона. Всѣ хохочутъ.

Пришелъ профессоръ, красивый старикъ фонъ-Боккъ. Всѣ его окружили и дружно отвѣсили поклонъ. „Ну, что, пришли работать?“ пробормоталъ онъ тихо, угрюмо, окинувъ насъ общимъ взглядомъ. „Выбирайте себѣ голову, какую хотите, и сдѣлайте барельефъ“. Ждали мы какихъ-нибудь указаній, совѣтовъ, наострили уши, чтобы услышать какое-нибудь наставленіе, не скажетъ ли онъ рѣчь, но онъ, переваливаясь съ ноги на ногу, только еще что-то сквозь зубы сказалъ, пожелалъ намъ успѣха и ушелъ. Тогда мы обратились къ тому старенькому ученику, который такъ важно говорилъ объ упадкѣ въ Лакоонѣ и просили его посоветовать намъ, что лѣпить. „Начните по порядку“, сказалъ онъ увѣренно, основываясь на долготѣтнемъ опытѣ. „Сперва голову „Анатоміи“, потомъ профиль Антиноя; Гомера труднѣе, а Лакоона еще труднѣе“. — „А можно лѣпить Дискоболя?“ спрашиваю я. „Вишь

чего захотѣлъ“, возразилъ онъ сердито. „Вотъ полѣпите-ка, какъ я, три раза Германика съ фаса и 2 раза спинку, 5 разъ Аполлона, да научитесь наизусть лѣпить слѣдочки и кисточки, и тогда можете приступить, пожалуй, и къ группѣ“.

Пришелъ глинящикъ, натурщикъ Дмитрій. Онъ 40 лѣтъ стоялъ на натурѣ и зналъ всѣхъ профессоровъ и художниковъ. Сталъ онъ намъ рассказывать, какъ въ старину бывали строги, какъ какой-то профессоръ любилъ одного ученика, а другого не любилъ, и какъ нелюбимцу велѣлъ поступить въ дворники; какъ другой профессоръ настаивалъ на томъ, чтобы его ученику дали медаль, какъ ученикъ ничего не могъ сдѣлать и какъ профессоръ передъ экзаменомъ проработалъ всю ночь у него. Затѣмъ онъ перешелъ на себя, рассказалъ, какъ онъ стоитъ на натурѣ, не шевелясь, 2 часа, безъ отдыха, и въ это время спитъ. Но скоро онъ перешелъ къ охотѣ (онъ былъ страстный охотникъ). Его фигура даже напоминала тургеневскаго Ермолая. Мы испугались длинныхъ охотничьихъ рассказовъ и поспѣшили разойтись. Кое какъ перекусивъ въ плохой кухмистерской, находившейся по 1-й линіи въ подвалѣ, мы въ 4 часа были опять въ академіи. Занятій еще не было, но мы всѣ собирались въ темный коридоръ и дожидались открытія классовъ вечерняго рисованія. До 5 часовъ еще было далеко, а надо было соблюдать очередь: кто становился ближе къ двери, тотъ раньше всѣхъ могъ попасть въ классъ и выбрать себѣ лучшее мѣсто. И вотъ въ темнотѣ цѣлой толпой мы осаждаемъ дверь. Всѣ стоятъ съ длинными трубами Ватманской бумаги и съ пучкомъ угольковъ, кто стоитъ прислонившись къ двери, кто у стѣны, а кто наваливается на товарища. Рассказываются анекдоты; всѣ смѣются. Иногда слышны брань и ругательства. Народъ прибываетъ, и тѣснота дѣлается ужасная; просто лежатъ другъ на другѣ. Слышны шаги въ коридорѣ. „Это ге-

нераль идетъ“, говоритъ тотъ, кто ближе стоитъ къ наружной двери. Показывается высокая, сухоощавая фигура вахтера Яковлева, или, какъ ученики его называли, „самого начальника“. Николаевскій солдатъ изъ кантонистовъ, лысый, съ бакенами, съ рыжими усами, Яковлевъ смѣшилъ насъ своимъ строгимъ, начальственнымъ видомъ и своей важной гордой походкой. Выраженіе „мы съ Исеевымъ“ приписывалось ему; его однако, боялись; поговаривали, что онъ обо всемъ докладываетъ инспектору Черкасову. Однако, онъ не былъ неподкупенъ и нѣкоторымъ протезировалъ. При его появленіи всѣ еще плотнѣе прижались и налегли на дверь. „Ну, баловники, посторонитесь!“ говоритъ строго вахтеръ-фельдфебель. Кто-то ударяетъ его по головѣ бумагой. „Черкасову скажу, мы вамъ зададимъ! Вотъ не отопру, стойте тутъ“. Но дверь онъ все-таки открываетъ. Тутъ, какъ солдаты крѣпость, мы приступомъ беремъ дверь, врываемся толпой въ классъ, бѣжимъ по скамьямъ, расположеннымъ амфитеатромъ. Бѣгутъ всѣ черезъ скамьи, подъ скамьи, всѣ ищутъ мѣста, откуда модель, бюстъ или статуя лучше освѣщается и кажется красивѣе. Черезъ нѣсколько минутъ всѣ уже заняли мѣста, и только опоздавшіе бродятъ по классу и мѣняются оставшимися плохими мѣстами.

Весь шумъ, весь хаосъ разомъ утихаетъ, какъ только принимаются рисовать. Тутъ водворяется такая тишина, что, несмотря на страшную толпу (около 100 человекъ работаетъ въ одномъ классѣ), слышенъ только скрипъ угольковъ и шумъ отъ тряпокъ, стиравшихъ угольки. Иногда слышенъ звонкій голосъ инспектора, академика Черкасова. Если Яковлевъ насъ смѣшилъ своей строгостью, то инспекторъ иной разъ этой же напускной строгостью насъ пугалъ. „Нельзя-съ“, бывало раскричится этотъ художникъ-чиновникъ стараго добраго времени. „Что вы, господа, не знаете, что ли? Вы ученики еще, а не профессоры. Не позволю!“ Но ученикъ хо-

дить за нимъ и съ покорностью продолжаетъ просить. Тогда, не отворачиваясь, онъ сердито говоритъ: „Ну, позволяю, но это послѣдній разъ“. Это былъ типъ, современнѣйшій Яковлеву: изъ художниковъ, кантонистовъ, высокій, живой, съ длинными нафабранными усами, всегда дѣятельный, онъ любилъ строгости. Кричалъ онъ не только на служащихъ и учениковъ, но иногда и на профессоровъ. Какъ человѣкъ, онъ былъ добрый, но ограниченный; какъ художникъ — бездарный, но добросовѣстный.

Отъ страшной жары, отъ множества лампъ и отъ дыханія воздухъ въ классѣ дѣлается удушливымъ, жара дѣлается нестерпимой, но всѣ до того увлечены рисованіемъ, что никто не чувствуетъ ни жары, ни духоты. Время долетитъ, и 2 часа проходятъ незаметно. Звонокъ, возвѣщающій конецъ рисованія, вызываетъ сожалѣніе. Неохотно всѣ вкладываютъ рисунки въ папку и, лѣниво отирая съ лица обильный потъ, выходятъ въ холодный, свѣжій коридоръ; выходятъ всѣ мокрые, красные, съ блестящими глазами и съ взъерошенными волосами. Вечерніе классы рѣдко кто пропускалъ. Бывало, больные, голодные приходятъ рисовать, до того увлекались тогда рисованіемъ. Мой хозяинъ квартиры, больной, пожилой уже человѣкъ, отецъ семейства, служилъ въ штабѣ. Жалованье у него было маленькое, и чтобы его увеличить, онъ бралъ домой работу, но не могъ эту работу исполнить, потому что аккуратно посѣщалъ вечерніе классы въ академіи. За эту любовь къ рисованію онъ не получалъ повышенія и бѣдствовалъ. Товарищъ мой впоследствии рассказывалъ, что одно время онъ по цѣлымъ днямъ голодалъ; но мысль о вечернемъ рисованіи поддерживала и ободряла его. Рисунокъ ему очень удавался, онъ же увѣрялъ, будто только тѣ рисунки бывали удачны, которые онъ рисовалъ, будучи голоденъ. Служитель при классѣ разъ указалъ намъ на одного тихаго, бѣд-

наго ученика, который, какъ влюбленный, всегда смотрѣлъ на свой рисунокъ. Онъ по окончаніи классовъ позже всѣхъ оставался, собиралъ корки грязнаго хлѣба, которымъ стираются рисунки и ихъ съѣдалъ. За хорошіе рисунки выдавались медали и получившіе допускались къ конкурсу на золотую медаль. Но главное, всѣхъ увлекало соревнованіе.

Многіе очень хорошо рисовали, и ученіе происходило не столько благодаря указаніямъ молчаливыхъ и малодаровитыхъ профессоровъ, которымъ ученики мало вѣрили и которыхъ мало уважали, сколько благодаря совѣтамъ самихъ товарищей. Словомъ, учились сами собою. Совсѣмъ другое было въ скульптурномъ классѣ. Тутъ насъ, скульпторовъ, было всего человѣкъ 8—10. Всѣ мы плохо еще работали и другъ отъ друга нечего было позаимствовать, а отъ профессоровъ, приходившихъ черезъ день, мы узнавали нѣкоторыя мелочи и детали, касающіяся рисунка, собственно же лѣпки, т.-е. какъ лѣпить и чѣмъ, насъ не учили. Правда, свойство барельефа таково, что рисунокъ и перспектива играютъ въ немъ важную роль, но и въ круглыхъ вещахъ примѣнялся такой способъ преподаванія, который скорѣе убивалъ истинное чувство скульптуры, а не развивалъ его. Такъ, для сравненія формъ, профессоръ всегда совѣтовалъ вертѣть и модель и копію и тѣмъ провѣрять постоянно наружный контуръ, исходя изъ той теоріи, что какъ линія есть сумма точекъ, такъ круглая поверхность есть сумма линіи. По этому способу ученикъ пріучался, копируя, видѣть только линіи, а не чувствовать форму и оттого лѣпка выходила сухая, бессознательная, а главное—формы сами не запечатлѣвались въ памяти ученика. Благодаря этому, работая въ вечернихъ рисовальныхъ классахъ, два часа въ день и 5 разъ въ недѣлю, я дѣлалъ гораздо болѣе успѣха въ техникахъ (скоро я перешелъ въ фигурный и натурный классъ), чѣмъ въ скульптурномъ классѣ, гдѣ

работалъ ежедневно отъ 9 до 2 почти безъ отдыха. И въ то время, какъ въ рисунокѣ я увлекался съ начала до конца, въ лѣпкѣ мнѣ нравилось только начало; тутъ въ 2—3 дня я дѣлалъ общее, а потомъ, гоняясь за линіей и за рисункомъ, я „зарабатывался“. Скоро, бывало, работа совсѣмъ надоѣдаетъ и ждешь случая начать новую. Работалъ я не хуже другихъ и считался успѣвающимъ и прилежнымъ. Но не я одинъ, а всѣ въ скульптурномъ классѣ относительно дѣлали мало успѣховъ въ техникѣ. Всѣ лѣпили вяло, и только у тѣхъ, кто дома лѣпилъ съ натуры безъ всякаго руководства, въ работахъ, какъ будто, проявлялась жизненность и нѣкоторая свѣжесть. Но домашнія работы не поощрялись профессорами. Помню, я принесъ показать фигурку съ натуры. Профессоръ такъ свысока отнесся къ этой работѣ, съ такой насмѣшкой указалъ на ошибки: тутъ кисточка мала, тамъ слѣдокъ не на мѣстѣ, а о самой работѣ ни слова, что мнѣ стыдно стало передъ товарищами. „Вотъ что“, добавилъ профессоръ, „лучше не показывайте мнѣ домашнихъ работъ. Что вы дома работаете, это ваше дѣло. Сперва научитесь адѣсь копировать антики, а потомъ дѣлайте, что хотите“. Да, потомъ...

Но это „потомъ“ продолжается у меня уже около 6 лѣтъ. Еще до реальнаго училища хотѣлось мнѣ вылѣпить нѣкоторыя сценки изъ еврейской жизни, которая тогда была мнѣ еще такъ близка. Задумалъ я вылѣпить сценки: въ хедерѣ, въ синагогѣ, на кладбищѣ: но „потомъ“ некогда было; при томъ не было той обстановки, которая необходима для жанриста. Въ Петербургѣ трудно было достать еврейскіе типы и характеры. „Потомъ“ я много изъ еврейской жизни позабылъ. Я окупнулся въ новую жизнь, сблизился съ другими людьми. Будучи въ душѣ жанристомъ, я захотѣлъ брать сюжеты изъ этой новой обстановки. И вотъ только что сталъ привыкать къ жизни русскихъ людей,

какъ опять новая жизнь, опять новая обстановка меня окружаетъ. Попалъ я въ жизнь неизвѣстныхъ мнѣ древнихъ грековъ, съ утра до вечера нахожусь среди статуй боговъ, философовъ, о которыхъ прежде понятія не имѣлъ, попалъ въ чуждый мнѣ міръ, и какъ я ни старался имъ проникнуться, читалъ мифологию и исторію, часами смотрѣлъ на статуи, — все никакъ не могъ настроить себя такъ, чтобы переживать то, что греки переживали и изображать ихъ жизнь въ сценахъ. Отъ жизни евреевъ къ жизни не-евреевъ я могъ еще перейти; какъ растеніе, я могъ быть пересаженъ на новую почву. Но отъ живого къ отжившему, отъ почвы къ небу я не могъ перескочить. И потому, чѣмъ больше я это сознавалъ, тѣмъ больше уходилъ отъ себя. Осталось мнѣ одно: углубляться въ автоматическое изученіе формъ и въ механическое копированіе Ахиллесовъ и Аполлоновъ. Повторялось то же, что и въ реальномъ училищѣ: тамъ вмѣсто ожидаемой умственной пищи я получалъ какія-то пилюли и облатки, значеніе которыхъ мнѣ и до сихъ поръ неизвѣстно; а тутъ, въ академіи, я изучалъ бытъ и жизнь народа, жившаго за нѣсколько тысячъ лѣтъ до меня, вмѣсто того, чтобы сперва научиться вѣрнѣе видѣть и изображать то, что вокругъ меня. Однако, нѣкоторые мои товарищи скоро свыклись съ новой обстановкой, стали дѣлать эскизы на темы изъ мифологии и изъ исторіи и нѣкоторые довольно удачно. Правда, у нихъ, можетъ быть, природныя способности къ исторіи, между тѣмъ какъ я люблю жанръ. А можетъ быть, я просто неспособенъ, часто думалось мнѣ. Можетъ быть, всѣ ошиблись; но тогда зачѣмъ всѣ меня такъ хвалили, зачѣмъ носились со мною и находили, что мои эскизы изъ еврейской жизни что-то общають. Неужели это все была насмѣшка? Какъ разъ въ это время, находясь въ такихъ сомнѣніяхъ, я наткнулся на слѣдующій эпизодъ.

Въ одномъ богатомъ домѣ я познакомился съ инже-



неромъ-евреемъ. „А, вы въ академіи учитесь! Можетъ быть, вы сумѣете мнѣ сказать, что сталося съ мальчикомъ скульпторомъ, о которомъ лѣтъ 6 тому назадъ много говорили? Его привезъ сюда Антокольскій. Говорили, что этотъ мальчикъ будущая знаменитость. И вотъ съ тѣхъ поръ онъ точно въ воду канулъ. Что съ нимъ стало?“ Этотъ вопросъ какъ разъ отвѣчалъ моему внутреннему состоянію, и я съ злорадствомъ отвѣтилъ: „Да этотъ мальчикъ былъ я; меня привезъ Антокольскій, и вотъ теперь...“— „Не можетъ быть!“ удивленно вскрикнулъ разочарованный инженеръ. Мнѣ тогда пріятно было разочарованіе; небось, самъ былъ одинъ изъ тѣхъ, которые, не зная меня, разносили обо мнѣ чудеса и небывицы; вотъ теперь получай за это награду! Инженеръ стушевался. Доставалось мнѣ отъ нѣкоторыхъ старыхъ знакомыхъ, выдавшихъ меня у Рѣпина и у Антокольскаго. „А вы все еще въ академіи? Однако, давненько занимаетесь!“ Все это, да и мои внутреннія сомнѣнія такъ подѣйствовали на меня, что я потерялъ энергію и вѣру въ академію, о которой мечталъ. Вотъ почему съ особенной чуткостью я сталъ прислушиваться къ тому, что происходило въ художественномъ мірѣ внѣ академіи, и съ особеннымъ интересомъ сталъ слѣдить, какъ нѣкоторые талантливые художники, у которыхъ я раньше бывалъ и учился, сплотились вмѣстѣ и во имя свободы и самостоятельности творчества образовали товарищество.

Въ это время я получилъ предписаніе изъ гродненскаго воинскаго присутствія пріѣхать немедленно отбыть воинскую повинность. Хотя въ академіи я былъ уже въ натурномъ классѣ, но чтобы получить отсрочку, надо было имѣть малую серебряную медаль. Поговаривали, что нѣкоторые получали эту медаль раньше, когда подходилъ срокъ службы. Надо было хлопотать, просить; а иногда канцелярія приходила на помощь юношамъ, если за нихъ хлопотали. Впрочемъ, такъ

только говорили; но я ничего не предпринималъ и рѣшился какъ-нибудь самостоятельно справиться съ этимъ дѣломъ. Одновременно съ предписаніемъ начальства я получилъ письмо отъ дядюшки: онъ проситъ и умоляетъ не прѣзжать въ Гродно. „Если прѣдешь, то хромого, слѣпого—тебя возьмутъ, ибо въ Гроднѣ дѣтки самихъ депутатовъ (по набору) разбѣжались и не хватаетъ положеннаго числа рекрутовъ“. Итакъ, меня требуютъ въ Гродно. Но такъ какъ тамъ евреи уклоняются отъ воинской повинности, то и мнѣ надо было стараться туда не прѣхать.

Я находился въ другомъ положеніи, чѣмъ мои единоутробныя братья, скученные въ провинціи: русскій языкъ я отчасти зналъ, русскихъ любилъ и съ ними сблизился и все-таки старался избавиться отъ воинской повинности. И понятно почему: бросить на нѣсколько лѣтъ любимое дѣло художества, носить тяжеловѣсное ружье на своемъ слабомъ, покато́мъ плечѣ, ѣсть пищу, которую мой желудокъ не варитъ, жить въ атмосферѣ, которую мои легкія не выносятъ—это было печальное будущее. Но послѣ того, чему я насмотрѣлся въ Гродно, послѣ того, что написалъ мнѣ дядя, что въ Гроднѣ и слѣпого, и хромого примутъ, я рѣшился, если служить, то только не въ провинціи. А этого я могу достигнуть тѣмъ, что объявлю себя вольноопредѣляющимся. Это даетъ право выбрать мѣсто службы, жить на частной квартирѣ и ѣсть свою пищу. И вотъ когда я получилъ изъ Гродны бумагу съ требованіемъ прѣхать отбывать воинскую повинность, я немедленно сталъ хлопотать о томъ, чтобы остаться служить въ Петербургѣ. Въ гвардію, конечно, меня не принимаютъ; армейскихъ полковъ только два; въ Новочеркасскомъ евреямъ отказываютъ. Иду въ единственный пѣхотный резервный батальонъ. Полковой командиръ, полковникъ О., сердито читаетъ мою рекомендацію изъ академіи. „Что такое конференцъ-секретарь“, спрашиваетъ онъ. Я объясняю. „А гдѣ эта

академія художествъ находится? Чѣмъ вы тамъ занимаетесь?“ И разузнавъ все, полковникъ говоритъ: „Все-таки не могу васъ принять“. Разсказываю я о своей бѣдѣ знакомому, у котораго въ это время былъ генералъ Н. „Я охотно вамъ это устрою“, сказалъ любезно генералъ, „только надѣну ордена и съѣзжу къ командиру; посмотримъ, какъ онъ васъ не приметъ“. На слѣдующій день, когда я явился къ командиру, онъ ужъ менѣе сердито сказалъ: „Зачѣмъ вы беспокоили генерала? Я васъ принимаю. Но знайте, что у меня художествомъ не заниматься. Вы будете у меня жить въ общей казармѣ“. И болѣе тихимъ голосомъ прибавилъ: „Пойдите въ канцелярію; тамъ вамъ скажутъ, какія бумаги подать“. Въ канцеляріи меня окружаютъ дежурные офицеры. Молоденькій, красивый брюнетъ меня спрашиваетъ: „Вы какой художникъ? Портреты дѣлаете?“ „А меня можно снять?“ спрашиваетъ другой, толстый, рыжій, поручикъ. „Самое удобное мое лицо“ говоритъ третій, „у меня усовъ нѣтъ“. Однако, за дѣломъ они меня отослали къ главному письмоводителю. То былъ унтеръ-офицеръ, маленькій, сгорбленный, на видъ очень скромный, но съ хитрыми, бѣгающими глазами. „Поздравляю васъ, радуюсь за васъ“, говоритъ онъ тихимъ, вкрадчивымъ голосомъ, „счастье, что генералъ пріѣхалъ, а то нашъ командиръ строгій. Теперь вотъ что: принесите копій со всѣхъ вашихъ бумагъ, а главное — не забудьте медицинское свидѣтельство, котораго у васъ не хватаетъ. Когда все это принесете, мы васъ тотчасъ зачислимъ, задержки не будетъ. Впрочемъ, можете теперь уже считать себя принятымъ“.

„Итакъ я принять“, думалъ я, выйдя изъ канцеляріи; „достигъ того, о чемъ мѣсяць хлопочу“. Однако-жь, мнѣ жутко стало. При выходѣ изъ казармъ, я увидѣлъ группу молодыхъ солдатиковъ; ихъ обучали. Неужели и я на холоду буду часами такъ стоять и тяжелое оружіе носить, гимнастику дѣлать? А вѣдь

здоровье мое плохо, еле-еле въ казармы тащусь. Но вспомнивъ Гродно, пристава, слова дядюшки, я примирился со своимъ положеніемъ. Рассказываю я друзьямъ о томъ, что меня приняли, но что у меня не хватаетъ докторскаго свидѣтельства. Знакомый военный докторъ, старикъ Г., меня спрашиваетъ: „Неужели будете служить? Вѣдь вы для службы негодны. Это видно по наружности; груди не хватаетъ, да и ростъ слишкомъ малъ“. Рассказываю я, въ чемъ дѣло, что не хочется мнѣ ѣхать въ Гродно, гдѣ служить придется при еще худшихъ условіяхъ; адѣсь же мнѣ легче служить и академія близка. „Нѣтъ, гдѣ вамъ служить“, говоритъ заслуженный докторъ. „А насчетъ свидѣтельства приходите ко мнѣ завтра въ корпусъ; тамъ я васъ освидѣтельствую и выдамъ вамъ документъ“. На слѣдующее утро, придя въ кабинетъ доктора, я нашелъ тамъ цѣлую комиссію докторовъ. Всѣ меня освидѣтельствовали, взвѣшивали, мѣрили, постукивали грудь, выслушивали и затѣмъ за подписями всѣхъ написали мнѣ свидѣтельство съ приложеніемъ казенной печати. „Ну вотъ и документъ“, улыбаясь, говоритъ главный докторъ, „снесите это въ полкъ. Посмотримъ, какъ они васъ примутъ“. „Вѣдь мнѣ хуже будетъ“, говорю я, „если не примутъ; въ Гродно пошлютъ“. — „Не ваше дѣло; отдайте бумагу. Какой вы солдатъ? Вамъ надо художествомъ заниматься, а не военнымъ быть“.

Несу всѣ бумаги въ полкъ. Письмоводитель ихъ просматриваетъ и говоритъ: „Вотъ прекрасно, теперь все въ порядкѣ. Сегодня же приму васъ“. Но читая докторскій документъ, онъ раскрываетъ глаза отъ изумленія и тихо мнѣ говоритъ: „Послушайте, ваше дѣло скверное, съ такой бумагой вы не можете поступить. Совѣтую, подите къ нашему полковому доктору, попросите: онъ человѣкъ добрый, онъ дастъ вамъ такое свидѣтельство, которое будетъ годиться; а эту бумагу лучше не показывайте. Да и написали вамъ бумагу:

точно полтора понедѣльника осталось вамъ жить“, сказавъ улыбаясь письмоводитель, кончая чтеніе. Но посмотрѣвъ на меня, онъ прибавилъ: „а дѣйствительно, какой вы худенькій и маленькій!“ — „Да, я дѣйствительно нездоровъ“, жалуюсь я. „Да тогда какого чорта вы къ намъ поступаете, хлопчете и рветесь на службу“. — „Но мнѣ нужно отбывать воинскую повинность. Не хочется мнѣ ѣхать въ Гродно. А если бы не повинность, то ни за что не служилъ бы: здоровье плохое, да и въ академіи учусь“. — „Такъ, значить, вамъ служить не хочется?“ замигалъ быстро глазами письмоводитель. Такъ бы и сказали! А я-то все думаю, что вамъ хочется служить. Что-жъ, можно и иначе устроить: вотъ напишу вамъ бумагу въ думу, чтобы васъ тамъ освидѣтельствовали. Снесите ее, и если дѣло уладится, приходите ко мнѣ потомъ на квартиру; вотъ я тамъ-то живу.

Снесъ я свидѣтельство въ думу. Предсѣдатель воинскаго присутствія, прочитавъ ее, такъ разозлился, что я отъ страха чуть не убѣжалъ. „Какъ смѣлъ полкъ намъ предписать васъ освидѣтельствовать! Я задамъ нахлобучку тому, кто это написалъ. Не ихъ дѣло. Поѣзжайте въ Гродно, въ вашъ участокъ“. Опять горе; всѣ хлопоты потеряны. Жалуюсь всѣмъ, рассказываю. Но добрый генералъ Н. еще разъ за меня заступается. Онъ близко знакомъ съ гродненскимъ губернаторомъ, который тогда находился въ Петербургѣ и рассказалъ ему всю мою исторію. Губернаторъ призываетъ меня къ себѣ и совѣтуетъ мнѣ написать ему же прошеніе о томъ, чтобы освидѣтельствоваться въ Петербургѣ. „Эту бумагу“, говоритъ губернаторъ, „отправьте въ Гродно къ моему вице-губернатору; онъ ее сюда мнѣ перешлетъ, а я уже поговорю съ здѣшнимъ губернаторомъ“. Но случилось другое. Вице-губернаторъ въ Гроднѣ передалъ мою бумагу воинскому начальнику, который послалъ мнѣ телеграмму немедленно явиться въ Гродно. Казалось, мое дѣло совершенно погибло.

Я былъ въ отчаяніи. „Отъ кого это, наконецъ, зависить?“ спрашиваетъ В. В. Стасовъ, которому я разсказалъ свое горе. „Отъ министра внутреннихъ дѣлъ“, отвѣчаю. „А кто товарищъ его?“ задумался В. В. „Ба, вѣдь онъ товарищъ мой по правовѣдѣнію. Попробую, попытаюсь. Вы тутъ, Эліасъ, подождите, а я сейчасъ сбѣгаю къ нему“. Черезъ коротенькій промежутокъ времени возвращается В. В. радостный. „Ну, Эліасъ, вотъ вамъ и устроилъ! Все кончено. Прихожу я къ товарищу министра. Сейчасъ меня принимаетъ, встрѣчаетъ меня съ распростертыми объятіями. „Вы, В. В., ко мнѣ! Что васъ заставило придти?“ Я ему такъ и такъ, все разсказалъ, а онъ, не давъ мнѣ договорить, спрашиваетъ: „Не еврей ли онъ?“ Да, говорю, еврей. „Жалко“, отвѣчаетъ министръ, „я далъ себѣ слово для евреевъ ничего не дѣлать“. А я ему о васъ запѣлъ. Тогда онъ говоритъ: „Вы даете мнѣ слово, что это человѣкъ хорошій?“ Даю. Онъ надавилъ электрическую пуговку и моментально распорядился о васъ. Вотъ какъ скоро!“ „Да“, подумалъ я, надавилъ пуговку и я избавился отъ всего, всего. Черезъ нѣсколько дней въ думѣ меня освидѣтельствовали и напли меня никуда не годнымъ. Этимъ закончилась моя эпопея о воинской повинности. Мѣсяцъ я ходилъ по казармамъ, по канцеляріямъ, часами стоялъ у дверей командира, и это такъ надорвало мое и безъ того слабое здоровье, что я сталъ сильно каплять и у меня показалась кровь изъ горла.

Поднялся вопросъ уже не о томъ, годенъ ли я къ военной службѣ или нѣтъ, а годенъ ли я вообще, ибо здоровье мое совсѣмъ пошатнулось, и не къ полковому доктору, котораго рекомендовалъ мнѣ писарь, а къ самому С. П. Боткину меня отправили. Тогда С. П. былъ въ полномъ апогеѣ своей славы, къ нему простому смертному трудно было попасть; но за меня, по просьбѣ В. В. Стасова, хлопоталъ М. А. Балакиревъ.

Онъ устроилъ такъ, что С. П. принялъ меня въ своей клиникѣ, въ академіи.

Приемъ происходилъ во время чтенія лекціи на IV курсѣ. Аудиторія была полна. Всѣ студенты, а также молодые доктора были въ сборѣ. Лекція была посвящена мнѣ, т.-е. моей болѣзни. Мнѣ такъ интересно было ее слушать, что вмѣсто паціента я превратился въ слушателя. Въ аудиторіи было свѣжо, и я, сидя раздѣтымъ, не чувствовалъ даже холода и такъ увлекся лекціей, что забылъ, въ какомъ я видѣ, и чуть не вышелъ раздѣтый вмѣстѣ со студентами изъ аудиторіи. Съ тѣхъ поръ прошло около 20 лѣтъ, но многое осталось мнѣ еще въ моей памяти. С. П. я до того времени не видалъ, но я тотчасъ узналъ его по бюсту Антокольскаго. Только на бюстѣ онъ задумчивъ, а въ дѣйствительности былъ полонъ жизни. Черты лица хотя заплывшія, но по выпуклому лбу и глубоко лежащимъ живымъ глазамъ видно было, что это человѣкъ высокаго ума и таланта. Общій типъ чисто русскій, купеческій. Разспросивъ меня предварительно о томъ, что я дѣлаю, какъ лѣплю, гдѣ живу, чѣмъ питаюсь, онъ приступилъ къ выслушиванію груди и затѣмъ заговорилъ приблизительно такъ: „Вотъ передъ вами субъектъ крайне истощенный, тщедушнаго сложенія. Грудь слабая, подъ такимъ-то ребромъ слышна хрипота. Онъ занимается скульптурой и весь день стоитъ передъ мокрой глиной; питается плохо, въ кухмистерскихъ. У него появилась кровь изъ горла. Ему 21 годъ. Если такой больной къ вамъ обратится, то вы сейчасъ гоните его изъ Петербурга. Его года опасны. Его болѣзнь можетъ развиваться быстро. Но за этого молодого человѣка не бойтесь: онъ еврей. Его родители бѣдны, тщедушны по рожденію, набожны, ѣдятъ мясо, съ котораго спущена кровь, не ѣдятъ ничего сырого, сала не выносятъ. Многіе ведутъ сидячую жизнь. Отъ рода къ роду у нихъ передается тщедушіе; но вмѣстѣ съ тѣмъ

передается и удивительная выносливость. Они обладают изумительной жизненной способностью. Их семейная жизнь строгая, кровь чистая, циркуляция крови правильная. Ровно 10 лѣтъ тому назадъ обратился ко мнѣ другой еврей, его учитель Антокольскій, такой же щедедушный. У него была болѣзнь горла въ такой острой формѣ, что я испугался и упустилъ изъ виду всѣ тѣ обстоятельства, которыя вамъ только что говорилъ, я приговорилъ его къ смерти, думалъ, что онъ недолго проживетъ. Но вотъ онъ поправился и нынѣ здравствуетъ. Итакъ, если такой субъектъ къ намъ обратится, то, на основаніи его прежней жизни, его происхожденія, его расовыхъ особенностей не пугайтесь и не думайте, чтобъ онъ былъ въ опасности“. Такъ вотъ, какой я, обрадовался я. Мнѣ и бояться нечего. Пожалуй, въ академіи могу продолжать заниматься. Однако, на словахъ Боткинъ передалъ черезъ Балакирева, что мнѣ слѣдуетъ уѣхать на югъ, и добрый баронъ Г. А. Гинцбургъ далъ мнѣ на то средства. Я расстался съ академіей и уѣхалъ въ Парижъ.

„Ѣду, Ѣду въ Парижъ“, полный восторга и радости, говорилъ я всѣмъ и повсюду. „Счастливый, счастливый“, мнѣ вездѣ отвѣчали. „Не забудьте, Эліась, побывать въ тѣхъ мѣстахъ, въ тѣхъ музеяхъ, о которыхъ я вамъ говорилъ“, твердилъ мнѣ В. В. Стасовъ. „Впрочемъ, я вамъ напишу все на бумажкѣ, чтобы не забыли“, прибавилъ онъ. „Постарайтесь попасть въ палату депутатовъ во время преній“, говорили мнѣ знакомые. „Конечно, вы сходите въ Bal mobil, въ Alcazar“, шопотомъ и съ насмѣшкой прибавляли третьи. Я забылъ свою болѣзнь, свои непріятности съ воинской повинностью, все думалъ о томъ, что мнѣ предстоитъ. Какое счастье, что буду въ Парижѣ, въ этомъ великомъ городѣ. Это было вскорѣ послѣ славной всемірной выставки 1878 года, когда почти весь міръ поздравлялъ Парижъ и Францію съ полнымъ восстановле-



ніемъ силъ послѣ неудачнаго 71 года. Все молодое, все свободное устремлялось тогда во Францію, чтобы поучиться у знакомыхъ профессоровъ и художниковъ. Впрочемъ, я не учился ѣхалъ: хотѣлось мнѣ повидаться съ Антокольскимъ и потомъ уѣхать на югъ. Помню, пріѣхалъ я въ Парижъ рано утромъ, когда на улицахъ не было еще никакого оживленія. Сидя въ закрытой каретѣ, я все нагибался къ окошку и смотрѣлъ въ маленькое окошко на однообразную линію домовъ, которые послѣ цвѣтныхъ домовъ петербургскихъ казались мнѣ скучными и некрасивыми. Зато глазъ мой былъ пораженъ пестротой огромныхъ афишъ, наклеенныхъ на заборахъ и на стѣнахъ. Эта новинка характеризуетъ Парижъ, подумалъ я.

Заѣхалъ я къ Антокольскому, жившему тогда возлѣ Place d'Etoiles Avenue Victor Hugo. Восемь лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ я жилъ у Антокольскаго, въ домѣ Воронина, противъ академіи,—и какая перемѣна! Квартира, куда я теперь заѣхалъ, правда, маленькая, но что за убранство, какое изящество, съ какимъ вкусомъ все разставлено и устроено! На всѣхъ столахъ разложены старинныя вещи изъ кости, дерева и кожи! „А что это за ружье, зачѣмъ оно вамъ?“ спрашиваю я у Марка Матвѣича. „Это старинное; впрочемъ, тебѣ-то еще не понятно. Здѣсь въ Парижѣ всѣ собираютъ *anti-quités*, и я пристрастился къ этому. Проживешь, и самъ втянешься въ эту страсть, она очень завлекательна. А сколько пользы принесла эта коллекція моей работѣ! Ужасно развиваешь вкусъ; одно только: разоряешься очень на покупку этихъ вещей. Но деньги не потеряны; я ихъ всегда получу обратно“. Въ первый разъ увидѣлъ я красивыхъ дочерей Антокольскаго, одѣтыхъ съ большимъ вкусомъ, по старинному. Онѣ напоминали средневѣковые портреты. Похоропѣвшая Елена Емельяновна одѣта была къ лицу и изящно. Самъ Маркъ Матвѣичъ ничуть не постарѣлъ: онъ былъ полонъ силъ и

энергій. „Счастливішій“, подумалъ я, „вотъ, должно быть, доволенъ судьбою: всего достигъ, чего хотѣлъ“. „Ну, теперь поведу тебя въ мастерскую, тамъ увидишь другое“, сказалъ мнѣ Антокольскій.

По дорогѣ пройдя по Place d'Etoiles, онъ обратилъ мое вниманіе на огромный барельефъ на Arc de Triomphe, работы Ruhd'a. „Вотъ посмотри, это одинъ изъ лучшихъ образцовъ французскаго творчества. Сколько тутъ огня, какъ талантливо, но и какая „риторика“! Талантливы французы, но вмѣстѣ съ тѣмъ и безсодержательны“, продолжаетъ мой бывшій учитель. „Въ искусствѣ они спрашиваютъ, *какъ сдѣлано*, а не *что сдѣлано*. На выставкѣ увидишь массу хорошихъ вещей, но много плохихъ. А насчетъ себя скажу, что мнѣ тутъ не мѣсто“, прибавилъ онъ съ нѣкоторой грустью въ голосѣ. „Меня все тянетъ обратно въ Италію: тамъ меня понимаютъ, и жизнь тамъ спокойная, тихая. А тутъ этотъ шумъ, гамъ мнѣ не по сердцу. Одно—дѣтямъ тутъ лучше учиться и женѣ здѣсь очень нравится“. Незамѣтно, въ разговорѣ, подошли мы къ мастерской, находящейся въ узенькой улицѣ, где Вауен, у шумнаго грязнаго рынка. Сердце у меня забилося, когда я увидалъ массу статуй и бюстовъ. „А вотъ старый знакомый!“ вскрикнулъ я, увидавъ Іоанна Грознаго и Петра. „Нѣтъ, ты посмотри мои новыя вещи; увидишь, какой я сдѣлалъ успѣхъ. Старое то, да не то“. И взявъ меня за руку, онъ подвелъ меня къ мраморному Сократу, а затѣмъ къ Христу, работы, за которыя онъ получилъ награду на всемірной выставкѣ. Дѣйствительно, какая удивительная техника, какая широкая лѣпка въ этихъ новыхъ работахъ! Что за красивыя формы тѣла и драпировки и сколько вездѣ мысли и чувства! Но невольно опять мой глазъ перескакиваетъ на Іоанна Грознаго, стоявшаго въ глубинѣ мастерской. Сравниваю его съ новыми работами, и кажется мнѣ, что онъ не хуже новыхъ. Иванъ Грозный поражаетъ энергіей и смѣ-

остью. „А гдѣ „Инквизиція“? спрашиваю я, желая провѣрить свои прежнія впечатлѣнія. „Охъ, объ ней не говори; она у меня повернута къ стѣнкѣ: ее какъ испортилъ при отливкѣ бронзовщикъ, такъ я на нее и смотрѣть не могу и никому ея не покажу. Можетъ быть, когда-нибудь ее передѣлаю. Впрочемъ, у меня сюжетовъ столько, что не знаю, за который раньше ваяться. Есть и еврейскіе сюжеты: Моисей, Дебора, „Вѣчный жидъ“; но теперь я думаю о другихъ“.

Кромѣ работъ Антокольскаго въ Парижѣ я ничего не смотрѣлъ въ этотъ прїездъ. (Докторъ хотя находилъ мое здоровье удовлетворительнымъ, однако совѣтовалъ поскорѣе уѣхать на югъ). Не стоило въ нѣсколько дней осматривать Парижъ, когда я собирался всю зиму остаться здѣсь. Пока, до отъѣзда, я пользовался прекрасной погодой и гулялъ по окрестностямъ Парижа. Весна была безподобная. Не знаю, почему добрые знакомые мои въ Петербургѣ, перечисливъ всѣ прелести Парижа, не говорили мнѣ о парижской веснѣ; я думаю потому, что въ эту пору имъ не приходилось бывать въ Парижѣ, иначе они съ восторгомъ говорили бы объ этомъ. Памятна мнѣ моя первая прогулка. Рано утромъ я отправился по широкой, чистой авеню въ Болонскій лѣсъ. Перспектива высокихъ, зеленѣющихъ деревьевъ, за которыми виднѣлись капризно выстроенные особнячки-отели, безконечныя густыя аллеи, чисто-голубое небо, все вмѣстѣ подѣйствовало на меня такъ, что, казалось, съ природою, перерождаюсь, возобновляюсь и я. Не чувствуя усталости, я прошелъ по главнымъ аллеямъ, черезъ весь лѣсъ, перешелъ черезъ Сену, берега которой поразили меня простотою и своеобразной красотой, и попалъ въ St.-Cloud; тамъ, мимо дворца, поднялся на террасу, откуда неожиданно открылся моему взору весь Парижъ, Парижъ, въ которомъ я жилъ, но котораго не зналъ, Парижъ, о которомъ столько мечталъ, но прежде чѣмъ проникнуть во внутрен-

его, люблюсь его общимъ видомъ. Вернулся я по чуднымъ берегамъ Сены, черезъ Neuilly. Эту прогулку я повторялъ нѣсколько разъ, но эта первая осталась мнѣ больше всего въ памяти.

Скоро я уѣхалъ на югъ Франціи и уѣхалъ не одинъ, а съ художникомъ К., пансіонеромъ академіи. Онъ былъ пейзажистъ, и ему хотѣлось писать этюды на югѣ Франціи, но, не зная французскаго языка, онъ нашелъ удобнымъ присоединиться ко мнѣ, и мнѣ было веселѣе ѣхать съ товарищемъ. По совѣту одного художника, мы поѣхали въ маленькій городокъ St.-Jean de Luz, тогда еще мало посѣщаемый иностранцами. Мы прибыли туда рано утромъ. Носильщикъ перенесъ наши вещи въ ближайшую гостинницу, и мы, осмотрѣвъ комнату и разложивъ тамъ вещи, выбѣжали на улицу, чтобы осмотрѣться, гдѣ мы. Было чудное, свѣжее утро. На улицѣ была полная тишина, точно всѣ спали. Зеленныя ставни были вездѣ закрыты. Мы нѣкоторое время стояли въ раздумьи, куда намъ идти; но съ конца улицы доносился какой-то равномерный глухой гулъ, и мы направились къ нему по круто поднимающейся улицѣ. Дойдя до конца улицы, мы наткнулись на каменный заборъ и передъ нами открылось неожиданное зрѣлище: страшно широкій синій горизонтъ отдѣлялъ тихое зеркало океана отъ ярко-голубого неба, и огромная полоса бѣлаго песку отдѣляла насъ отъ безконечной глади воды. Все казалось неподвижно и тихо; только въ томъ мѣстѣ, гдѣ песокъ кончался, пѣна въ видѣ еще болѣе бѣлой ленты шевелилась и тамъ происходилъ этотъ глухой гулъ. Я никогда океана не видалъ, и зрѣлище это произвело на меня такое впечатлѣніе, что я долго стоялъ въ изумленіи. Такъ вотъ откуда этотъ шумъ! Такъ близокъ онъ, а мнѣ онъ показался, Богъ знаетъ, гдѣ. „Что за тишина, что за колориты!“ говорилъ товарищъ мой. На возвратномъ пути, когда мы спускались съ выео-

каго берега, намъ представился видъ совершенно другого рода: огромная зеленая долина отдѣляла нашъ небольшой городокъ отъ красивой цѣпи Пиренеевъ; вдали свѣтилась на солнцѣ рѣчка, за которой виденъ былъ другой городокъ. „Какъ тутъ прекрасно, какое счастье, что мы сюда попали!“ сказали мы въ одинъ голосъ. Съ слѣдующаго же дня мы стали отправляться на этюды. Товарищъ мой, любившій очень Малороссію, все искалъ мѣста ровня, съ большимъ горизонтомъ. Ему горы не нравились. „Что за природа здѣсь грубая, непоэтичная! То ли дѣло Малороссія, степи, безконечный горизонтъ и высокое небо“. Я не былъ съ ними согласенъ: мнѣ нравились горы. Случалось, однако, что мы направлялись въ горы,—товарищъ мой, навьюченный цѣлымъ багажомъ: ящикомъ съ красками и зонтикомъ, а я альбомомъ и складнымъ стуломъ; усаживались мы въ тѣнистомъ мѣстѣ и работали часами, не замѣчая, какъ время проходитъ. Чистый горный воздухъ, тишина и чудесная природа,—все это доставляло такое удовольствіе, которое понятно больше всего истинному пейзажисту. Работа намъ удавалась, и мы чувствовали себя счастливыми. Иногда мы отправлялись на этюды вторично, послѣ обѣда. Вечеромъ мы развѣшивали свои работы по стѣнамъ, сравнивали ихъ и радовались, что число ихъ увеличивается. Бывало на насъ нападаетъ меланхолія. Тогда отправляемся мы на plage и тамъ гуляемъ. Товарищъ тогда напѣваетъ русскія пѣсни, которыя зналъ въ изобиліи, а я подтягиваю, какъ могу. Въ пѣсняхъ этихъ иногда высказывалась наша грусть по родинѣ, и обыкновенно послѣ пѣнія рассказывали мы другъ другу о своемъ житьѣ-бытьѣ въ Россіи.

Русскихъ тамъ никого не было. Но разъ былъ такой случай: мой товарищъ былъ въ ударѣ, и отъ пѣсенъ меланхолическихъ перешелъ къ веселымъ цыганскимъ романсамъ. „Вдругъ услышитъ насъ кто-нибудь“, пре-

достерегаю я его. „Какая собака насъ тутъ пойметъ“, возражаетъ расходившійся пѣвецъ, продолжая свой жестокій романсъ. „Голубчики, стойте!“ кричитъ въ это время кто-то по-русски. Оглядываемся—видимъ, къ намъ бѣжитъ высокій мужчина, лѣтъ 35 брюнетъ, съ открытымъ, добрымъ лицомъ. „Ахъ вы, милые русскіе! Самъ Богъ прислалъ васъ сюда“, сказалъ, приблизившись, незнакомецъ. „Позвольте представиться: моя фамилія А. Я погибаю здѣсь отъ тоски, хотя не одинъ я здѣсь: вотъ тутъ гуляетъ генераль К. съ семействомъ своимъ. Оттого-то я и остановилъ васъ: боюсь, запоете вы такой романсъ, котораго барышнѣ не слѣдуетъ слышать. Пойдемте, познакомлю васъ съ генераломъ“. Генераль — старикъ восточнаго типа, съ очень энергичнымъ лицомъ. Черные, красивые глаза, большой орлиный носъ говорили о его энергіи, но блѣдный цвѣтъ лица, сгорбленность и медленный разговоръ свидѣтельствовали о настоящемъ болѣзненномъ его состояніи. Съ нимъ была дѣвица, съ длинной свѣтлой косой, и старушка мать, обѣ очень симпатичныя. „Радъ познакомиться,—говоритъ генераль,—какъ вы сюда попали? Еслибъ не болѣзнь, я бы въ эту дыру ни за что не поѣхалъ. Хвастуны эти французы! Какъ расписали! Въ путеводителѣ даже отмѣчены тумбы и деревья“.—„А все-таки вамъ тутъ лучше“, успокаиваетъ генерала старушка, типъ разсудительной, умной русской женщины. „Милости просимъ“, обращается она къ намъ, „приходите къ намъ сегодня чай пить, у насъ самоваръ есть“. Въ тотъ же вечеръ мы отправились съ новымъ нашимъ знакомымъ А. въ кафе. Онъ угощалъ насъ виномъ, но больше всего угощался самъ. Тутъ мы узнали его исторію. Онъ сынъ московскаго высокопоставленнаго лица и въ Москвѣ предавался вину. Родитель послалъ его за границу провѣтриться и полѣчиться. „И вотъ какой я несчастный“, кончаетъ свой рассказъ самобичующій А., „здѣсь такъ тоскую, что

мѣста себѣ не нахожу. Позвольте мнѣ съ вами на этюды ходить; это меня развлечетъ, и я отъ недуга своего избавлюсь“. Мы охотно согласились, и съ тѣхъ поръ въ нашей компаніи было много веселья, ибо нашъ спутникъ оказался очень остроумнымъ и веселымъ собесѣдникомъ.

Но недолго съ нами продержался нашъ интересный знакомый; по вечерамъ онъ сталъ носить вино къ намъ и насъ угощать. Мы запрещали ему это дѣлать, обыскивали его передъ приходомъ, но онъ въ нашемъ отсутствіи пряталъ подъ кроватью корзину съ шампанскимъ.

Въ St.-Jean de Luz мы проводили тихую, рабочую жизнь цѣлыхъ пять мѣсяцевъ. Дни шли за днями незамѣтно и однообразно. Но нѣсколько разъ наша жизнь выбивалась изъ обыкновенной колеи. Разъ мы три дня гуляли, участвуя на праздникахъ St.-Jean. Тогда весь городъ превращается въ ярмарку; устраиваются игры, театры, цирки и проч.; съѣзжаются со всѣхъ окрестныхъ деревень крестьяне; тутъ и испанцы, и баски, и французы, многіе въ національныхъ костюмахъ. Мы присутствовали на всѣхъ играхъ и зрѣлищахъ, но больше всего насъ интересовали народные танцы. Не забуду, какъ разъ, возвратившись съ гулянья вечеромъ, мы наткнулись на слѣдующее: городская площадь, вся облитая луннымъ свѣтомъ, казалось намъ, колыхалась, какъ море, точно волны, и только приблизившись, мы увидѣли, что это танцующій народъ, которымъ сплошь наполнена была вся площадь. Нѣсколько мандолинъ играли народный тапецъ—фанданго, а рослые, красивые баски, какъ мотыльки кругомъ цвѣтка, вертѣлись кругомъ граціозно танцующихъ дѣвушекъ. Въ эти три дня мы больше познакомились съ жизнью мѣстныхъ жителей. Незадолго до отъѣзда мнѣ удалось увидѣть болѣе грандіозное зрѣлище.

Въ St.-Jean de Luz было вывѣшено объявленіе, что

въ какой-то день будетъ въ St.-Sébastien'ѣ представле-  
ніе: бой быковъ. Программа была подробная, имена  
главныхъ участниковъ напечатаны жирнымъ, красивымъ  
шрифтомъ; назывались города, гдѣ они родились, пере-  
числялись всѣ ихъ успѣхи и заслуги. Я рѣшился туда  
поѣхать, посмотрѣть то, о чемъ такъ много говорить.  
До границы я пошелъ пѣшкомъ. Это была прекраснѣй-  
шая прогулка черезъ чудесные Пиренеи. Первый го-  
родъ Ирунь уже носить испанскій характеръ: узкія  
улицы, заборы, обвитые зеленью, дома со множествомъ  
балконовъ—все это было для меня ново и прекрасно.  
Дальше я поѣхалъ по желѣзной дорогѣ, по берегу моря,  
мимо чудеснаго острова, на которомъ красовался ста-  
ринный городокъ съ развалинами и башнями. По-  
года была восхитительная; путешествіе обѣщало быть  
удачнымъ. St.-Sébastien я не успѣлъ осмотрѣть: торо-  
пился на представлеіе. Театръ, гдѣ происходитъ бой  
быковъ, огромный, открытый, круглый, какъ Коллизей.  
Поразило меня убранство: сидѣнія разукрашены зе-  
ленью, флагами и красной матеріей. Главная ложа за-  
драпирована коврами и чудесной матеріей національ-  
ныхъ цвѣтовъ. Испанскій гербъ, прибитый сверху, ука-  
зываетъ на то, что въ этой ложѣ сидитъ мэръ или  
другой представитель города. У меня было хорошее  
мѣсто, и вся арена и всѣ мѣста были мнѣ видны. Скоро  
весь театръ заполнился; все запестрѣло. Публика обра-  
зовала собой сплошную полосу. Снизу полоса эта окай-  
млялась красной рампой арены; сверху же кончалась  
флагами, гирляндами, а тамъ—чистое голубое небо.  
Зрѣлище необыкновенное; пестрота чудныхъ цвѣтовъ  
пріятно раздражала глазъ, и я любовался общимъ ви-  
домъ. Появилась процессія артистовъ въ костюмахъ,  
расшитыхъ золотомъ и шелками. Они заблестѣли на  
весь театръ. Мурашки забѣгали у меня по тѣлу, когда  
музыка заиграла національные испанскіе мотивы. Ка-  
зались они похожими на еврейскій темпъ. Разодѣтые,



стройные, красивые актеры идутъ бодро въ тактъ музыки чудесно-звучащихъ мандолинъ. Все зашевелилось отъ восторга; у всѣхъ, видно, пробудился духъ національный. Процессія обходитъ весь театръ и останавливается у разукрашенной ложи. Тамъ на первомъ мѣстѣ сидитъ красавица. Процессія ей кланяется, публика неистово аплодируетъ. Многіе выкрикиваютъ имя красавицы. „Вотъ такъ торжество“, сказалъ я порусски громко, почувствовавъ потребность услышать свой собственный голосъ. „Стоить изъ-за тридцать земель сюда прѣѣхать, чтобы посмотрѣть это великолѣпіе“. Процессія удаляется; музыка замолкаетъ; все утихаетъ.

Не замѣтилъ я, какъ на аренѣ появился быкъ. То былъ не такой быкъ, костлявый, неуклюжій, какихъ я привыкъ видѣть дома. Предо мной стоялъ стройный, красивый звѣрь, чуднаго темно-сѣраго цвѣта (на довольно высокихъ ногахъ и съ удлиненной шеей). Онъ гордо поднималъ голову и удивленно посмотрѣлъ своими прекрасными, большими черными глазами на пеструю публику. Вся его фигура выражаетъ силу и красоту, и невольно любуешься этой дикой породой. Красивые костюмы, музыка, голубое небо и этотъ дикій звѣрь, все вмѣстѣ продолжаетъ восхищать мой глазъ; всѣ эти вещи одинаково прекрасны, и оттого испытываю я большее удовольствіе. Но на этомъ все удовольствіе, все торжество кончается. Дальше совершается такой ужасъ, такое безобразіе, что изъ настроенія восторженнаго разомъ переходишь въ раздраженіе и, наконецъ, доходишь до невыносимаго страданія. Не вѣрится, что тѣ разодѣтые красавцы, которые въ процессіи ходили плавно подъ аккомпаниментъ мандолинъ, которые такъ любезно кланялись красавицѣ, теперь всѣ вооружены орудіями пытки: кто длинными иглами, кто пикой, а кто кинжаломъ. Поочередно, соблюдая какой-то порядокъ, правило и программу (безъ правилъ и безъ программы не совершается ни одно насиліе, ни одно убійство—

война, дуэль) они мучают дикаго, растерявшагося звѣря, сперва втыкають ему иглы въ кожу, потомъ пиками колють его и затѣмъ закалываютъ ножомъ. Всѣ эти ужасныя мученія совершаются съ такимъ расчетомъ, чтобы быкъ какъ можно больше разъярился, и когда истекающее кровью животное бросается на мучителей, то одни, какъ жалкіе трусы, разбѣгаются, а другіе дразнятъ быка, отвлекая его въ сторону. Глядя на эту безобразную потѣху, я вспомнилъ то, что видѣлъ въ дѣтствѣ: дрянные мальчишки поймали мышонка; они накалили желѣзный пруть и черезъ отверстіе мышеловки жгли имъ глаза и тѣло несчастнаго звѣрька. Мышь бѣгала, пицала, а мучители хохотали. Одинъ старался прутикомъ попасть прямо въ глазъ, и когда ему это удалось, то всѣ захлопали въ ладоши отъ радости. Вскорѣ они утомились, и мышь бросили на свѣденіе кошкѣ. До того я возстановленъ былъ противъ этой жестокости, что у меня совершенно исчезло чувство солидарности съ этой прекрасной породой человѣческой, и я только слѣдилъ за несчастнымъ быкомъ, ждалъ, чтобы онъ бросился на мучителей и отомстилъ бы имъ. И когда быкъ перескакиваетъ черезъ барьеръ и публика въ ужасѣ разбѣгается, то я хохочу. Хочется мнѣ, чтобы быкъ погнался за ними; но быкъ растерянный, къ досадѣ моей, возвращается на арену. Пикадоръ на лошади, у которой перевязаны глаза, чтобы не пугаться и не видѣть ужаса мученій, втыкаетъ пикъ въ открытую рану быка. Быкъ въ остервенѣніи бросается на лошадь, рогами распарываетъ ея животъ; кишки лошади вываливаются на землю. Пикадоръ спасается въ ужасѣ. Скоро и убитую лошадь, и внутренности ея на глазахъ всей публики стаскиваютъ съ арены. Быкъ бросается на другого мучителя, который перескакиваетъ черезъ барьеръ и, падая, разбиваетъ себѣ носъ. Кровью онъ облилъ всю рампу. Наконецъ, выполняется самый важный и послѣдній

номеръ программы: такъ называемый матадоръ шпагою закалываетъ быка. Публика кричитъ, галдитъ, я думаю, что это отъ радости, но смотрю—показываютъ кулаки, ругаются неприличными словами, бросаютъ на сцену апельсиныя корки. Думаю, что это негодование: злятся, что убили быка, но и того нѣтъ. По программѣ быка слѣдуетъ убить. Оказывается не такъ убилъ, не по тѣмъ правиламъ, главный гладіаторъ измученнаго звѣря. Музыка заиграла, но шумъ и гамъ не унимается. На сцену является новый быкъ. Я встаю и, громко ругаясь, направляюсь къ выходу. На меня смотрятъ и иронически улыбаются. Нѣсколько дней я былъ подъ впечатлѣніемъ этого ужаснаго зрѣлища, не могъ ѣсть и спать. Когда черезъ нѣсколько лѣтъ я былъ въ Мадридѣ и узналъ, что скоро тамъ дается бой быковъ, то уѣхалъ изъ города, чтобы не видѣть ту публику, которая приметъ участіе въ неслыханномъ безобразіи.

Я вернулся въ Парижъ глубокой осенью и ради дешевизны поселился въ предмѣстьи Парижа, Neuilly. Нанялъ я комнату въ глухой улицѣ, въ маленькомъ ресторанѣ, въ которомъ жили преимущественно итальянскіе рабочіе и кучера. Комната моя находилась въ темномъ коридорѣ верхняго этажа, и обстановка ея была такая, какая обыкновенно бываетъ въ подобныхъ ресторанахъ. Огромная деревянная кровать, занимающая три четверти комнаты, покрыта старыми, запыленными, съ потолка спускающимися занавѣсами. Полукруглый столъ прислоненъ къ мраморному камину, на которомъ стоитъ зеркало въ золоченой рамѣ и испорченные часы. Старый умывальникъ, маленькій столъ у кровати и единственный стулъ—вотъ все, что могла вмѣстить эта крошечная комната. Все имѣло видъ старый и ветхій; мѣнялись хозяева ресторана: одни умирали, другіе, наживаясь, передавали ресторанъ третьимъ, но обстановка въ комнатахъ оставалась одна и та же въ продолженіи многихъ десятковъ лѣтъ. Какая-то грусть

всегда охватывала меня, когда я оставался въ комнатѣ лишній часъ, и письма я предпочиталъ писать внѣ дома, лишь бы не видать этой грустной картины изъ окна: черныя крыши и рядъ закопѣлыхъ трубъ. Впрочемъ, дома я только спалъ и рано утромъ отправлялся въ мастерскую, и по дорогѣ на улицѣ, подъ воротами, гдѣ старуха продавала готовый кофе, я стоя выпивалъ за три су огромную чашку сѣрой жидкости. Въ мастерской я тогда копировалъ съ гипсовъ, большею частью съ работъ самого Антокольскаго. Но работа шла у меня туго, и я не былъ доволенъ ею; техника у меня была слабая: въ академіи я еще не успѣлъ ничему научиться, а указанія Антокольскаго не всегда были мнѣ понятны. Его поправки только обезкураживали меня. Антокольскій тогда реставрировалъ статую Петра. Онъ поручилъ мнѣ по гипсовой статуѣ работать воскомъ, и я исполнялъ его порученіе неумѣло, не такъ, какъ ему хотѣлось. Онъ сердился и бывалъ мною недоволенъ. Вообще, я чувствовалъ себя въ мастерской не совсѣмъ свободно: самъ стѣснялся работать и казалось мнѣ, точно стѣсняю другихъ. Обожая работу Антокольскаго, его изумительную технику и глубокую мысль, которую онъ всегда вкладываетъ во всѣ свои произведенія, я, однако, самъ чувствовалъ себя неспособнымъ къ исторической и героической скульптурѣ (*grand art*) и все мечталъ о жанрѣ. Въ музеяхъ, на выставкахъ я искалъ вещи, представляющія сцены изъ современной жизни. Еще въ петербургскомъ Эрмитажѣ я любовался картинами голландской и фламандской школъ. Въ Парижѣ я тогда былъ въ восторгѣ отъ новаго направленія—націоналистовъ. Тогда Jules Breton, Bastien-Lepage, Lehrmite, Dangan-Bouveret и др. писали изумительныя картины изъ народнаго быта, писали правдиво и такъ понятно для всякаго, что я сталъ больше сознавать въ себѣ это влеченіе къ жанру. Не менѣе правился мнѣ реализмъ французскихъ скульп-

торовъ; и они уже сбросили старую, непонятную мнѣ манеру подражанія классикамъ, и хотя все еще работали голыя фигуры, безсмысленныя аллегоріи, однако сама трактовка вещей была реальная, правдивая. Не принималось на вѣру, какъ прежде, то, что дѣлали греки и римляне, а все провѣрялось по натурѣ, и въ этомъ отношеніи искусство скульптуры начало жить своею жизнью. Началась, хотя пока только для техники, новая эпоха, не возрожденія стараго, а созданія чего-то новаго.

Антокольскому тогда очень понравились мои рисунки и нѣкоторые этюды масляными красками, которые я привезъ изъ St.-Jean de Luz. Онъ посоветовалъ мнѣ показать ихъ Боголюбову, съ которымъ былъ тогда въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ. Боголюбовъ, видѣвшій меня въ мастерской Антокольскаго, принялъ меня въ своей мастерской довольно любезно, но работу свою мнѣ не показалъ. Я замѣтилъ только нѣсколько мольбертовъ, на которыхъ висѣли небольшія марины, писанныя по французской манерѣ. Самъ Боголюбовъ, высокій, бодрый еще старикъ, стоя, покровительственнымъ тономъ разспрашивалъ о моихъ занятіяхъ въ академіи. „Здѣсь теперь вашъ президентъ, великій князь; вамъ слѣдуетъ ему представиться“, сказалъ онъ. Рисунки мои онъ одобрилъ: „хорошо рисуете. Я могу принять васъ въ ученики; вы у меня научитесь хорошо писать. Это ничего, что вы еврей. Вотъ скульпторъ Беренштамъ также еврей, а я ему протежирую. Одно только: чтобъ вы мнѣ потомъ не сдѣлали того, что сдѣлалъ бывшій ученикъ мой Б.: онъ, подлець, сталъ копировать меня и такъ поддѣлался подъ мою манеру писать, что его картины принимали за мои“. Показалъ я также свои рисунки М. Я. Вилліе. „Надо вамъ поступить въ школу къ какому-нибудь знаменитому художнику“, громко сказалъ всегда весело настроенный художникъ, „только у французовъ и можно учиться. Если позайм-

ствуєте ихъ манеру, то въ гору пойдете“. И не сказавъ мнѣ ничего, онъ съѣздили къ Bonnat и попросилъ его принять меня въ ученики. Однако, всѣ эти любезныя предложенія Боголюбова и Вилліе я не могъ принять: скульптурѣ я не былъ намѣренъ измѣнить, а поступать вновь къ какому-нибудь учителю мнѣ не хотѣлось. Я слышался достаточно рассказовъ о парижскихъ знаменитостяхъ, какъ они равнодушно относятся къ своимъ ученикамъ, а съ другой стороны, какъ сами ученики пользуются только именемъ знаменитыхъ профессоровъ, и мнѣ все это было противно. Я тогда уже чувствовалъ инстинктивное отвращеніе къ слѣпому поклоненію художественнаго авторитета и манерѣ работать, и такимъ образомъ я остался вѣренъ академіи, а пока мастерской Антокольскаго.

Тамъ я близко сошелся съ молодымъ евреемъ Зильберманомъ. Судьба этого человѣка въ нѣкоторомъ отношеніи замѣчательна. Уроженецъ орловской губ., онъ получилъ въ наслѣдство отъ отца водочный заводъ, но изъ принципа не сочувствовалъ этому дѣлу, все распродалъ и уѣхалъ въ Парижъ, чтобы тамъ научиться новому дѣлу; но въ поискахъ за работой онъ растратилъ свои деньги, заболѣлъ и попалъ въ больницу. Тамъ случайно его увидѣлъ художникъ Дмитріевъ-Оренбургскій. Впослѣдствіи онъ поступилъ къ Антокольскому въ мастерскую, гдѣ за извѣстную плату исполнялъ всякія порученія, убиралъ мастерскую и покрывалъ колпакомъ работу. Но въ свободное время онъ лѣпилъ, рѣзалъ по дереву и обнаружилъ такія большія способности, что Антокольскій считалъ его своимъ ученикомъ, съ нимъ совѣтовался во всѣхъ дѣлахъ. И другіе художники оцѣнили способности Зильбермана, его потомъ сдѣлали секретаремъ русскаго общества. Съ нимъ я подружился и проводилъ почти весь день; вмѣстѣ мы завтракали въ очень маленькомъ кабачкѣ, находившемся у рынка и содержавшемся вы-

сокой, толстой бретонкой m-me Эрнестъ, которая замѣчательно вкусно готовила намъ завтраки. Въ этомъ кабачкѣ я встрѣчался съ нѣсколькими русскими художниками. Русскіе садились вмѣстѣ за отдѣльный столикъ, вмѣстѣ мы ѣли, шутили, смѣялись. Я тогда жилъ на очень скудные средства и не могъ много тратить на ѣду. Бывало съ завистью смотрю, какъ мои сосѣди берутъ цѣлыя порціи; я же долженъ былъ удовлетворяться полупорціями, при томъ такихъ блюдъ, за которыя не платится *supplément*. Въ компаніи, изъ подражанія, я пилъ много простого вина, и послѣ завтрака, подъ впечатлѣніемъ оживленнаго разговора съ русскими и выпитаго отвратительнаго вина, я находился въ возбужденномъ состояніи, и вмѣсто того, чтобы идти въ мастерскую, гдѣ никого еще не было, (Антокольскій и рабочій уходили завтракать), я уходилъ на часъ въ *fortifications*; тамъ, усаживаясь на насыпь, я зачерчивалъ виды и наблюдалъ за быстро пробѣгающими мимо меня поѣздами *Ceinture*. Въ мастерской я работалъ вплоть до вечера и вмѣстѣ съ Маркомъ Матвѣичемъ мы отправлялись къ нему обѣдать. Антокольскій тогда велъ жизнь семейную, замкнутую; никто у него не бывалъ, рѣдко собирались гости. Обыкновенно послѣ обѣда всѣ домашніе расходились по своимъ комнатамъ. Маркъ Матвѣичъ читалъ или писалъ, и я, чуточку посидѣвъ и почитаю русскую газету, уходилъ. Но куда идти? Домой еще рано было. Мнѣ противно было возвращаться въ мою комнату чрезъ ресторанъ, наполненный пьющими кучерами и лакеями. И вотъ, очутившись на *Place d'Etoiles*, откуда лучами идутъ улицы по всѣмъ направленіямъ, я, не зная куда дѣться, бывало иду, куда глаза глядятъ. Иногда спускаюсь по тѣмъ улицамъ, которыя ведутъ къ Сенѣ, но тамъ темнота, закрытые большіе отели наводили на меня тоску. Не менѣе грустно мнѣ было гулять по аллеямъ, ведущимъ въ *Bois de Boulogne*; тамъ просто

страшно было одному: какія-то подозрительныя лица встрѣчались по дорогѣ. Заманчивой казалось мнѣ Avenue des Champs Elysées, эта главная артерія, ведущая въ центръ Парижа. Точно пульсъ тутъ бьется жизнь бульваровъ. Бывало, спускаюсь по этой единственной въ своемъ родѣ улицѣ, останавливаюсь у Concerts, освѣщенныхъ тысячами огней, но не имѣя денегъ, чтобы войти, иду мимо, черезъ Place de la Concorde къ Madeleine, а оттуда на бульвары.

Такъ я разъ гулялъ вечеромъ по Boulevard Montmartre. Скучно мнѣ было одному въ этомъ шумѣ и общемъ весельи. Остановился я у théâtre Vaudeville и съ завистью смотрю, какъ разряженная публика входитъ въ ярко освѣщенный театръ. Я еще ни разу не былъ въ парижскомъ театрѣ, и мнѣ очень хотѣлось посмотреть, какъ французы играютъ. Но въ карманѣ у меня былъ лишь одинъ франкъ, а мнѣ еще хотѣлось выпить вечеромъ Groseille. Какой-то субъектъ, молодой, въ котелкѣ, похожій на тѣхъ, которые снуютъ у café съ разными товарами, предлагаетъ мнѣ билетъ въ театръ: „Seulement 50 centimes“, говоритъ онъ шопотомъ. „Вѣроятно фальшивый билетъ“, думаю я. Но точно онъ угадалъ мои мысли и продолжаетъ: N'ayez pas peur, le prix est 2 fr. Je vous placerai bien“.

„Можетъ быть, это барышникъ; ему даромъ достался билетъ. Отчего бы не идти, если такъ дешево“, думаю я и плачу 50 сант. Направляюсь къ главному входу, но продавецъ беретъ меня за руку и говоритъ: „я поведу васъ другимъ ходомъ“, и свелъ меня въ темный дворъ, гдѣ ждали человѣкъ десять, снабженныхъ такими билетами, какъ у меня. Вмѣстѣ поднялись мы по грязной черной лѣстницѣ въ верхній этажъ и очутились за кулисами. Тутъ опять ждала насъ партія человѣкъ въ десять. Пересчитавъ всѣхъ насъ, благодѣтель нашъ исчезъ; мы остались одни и въ недоумѣніи смотрѣли другъ на друга. „Все равно, попался“, по-



думалъ я, „что будетъ, то будетъ“. Однако, скоро вернулся нашъ предводитель, и мы пошли за нимъ: черезъ какія-то кладовыя и темный низенькій коридорчикъ попали мы въ освѣщенный театръ на самый верхъ. „Вотъ первая скамейка въ вашемъ распоряженіи; разсаживайтесь, какъ хотите, мѣста хорошія“. Самъ онъ сидитъ на краю скамьи нашей. Мое мѣсто, дѣйствительно, хорошее: точь въ точь такое, какъ первая скамейка 4-го яруса Маріинскаго театра, и тамъ заплатилъ бы за такое мѣсто не менѣе 75 коп. Внизу, въ партерѣ, пустовато; какой-то субъектъ расхаживаетъ важно между скамейками и о чемъ-то выкрикиваетъ. Прислушиваюсь, но ничего не могу разобрать; но мой сосѣдъ, весельчакъ-шутникъ, передразниваетъ: „voilà le programme!“ Занавѣсъ поднимается; начинается представленіе. Актеръ декламируетъ, сильно размахивая руками. Я ничего не слышу и ничего не понимаю, и только окончился монологъ, какъ нашъ предводитель слегка приподнимается, нагибается и, глядя въ нашу сторону, сильно хлопаетъ, за нимъ вся наша скамейка. Смотрю—внизу въ театрѣ гробовое молчаніе. Представленіе продолжается; актриса говоритъ, и только она кончаетъ свой рассказъ, какъ опять раздается неистовое хлопанье на моей скамейкѣ. Я единственный не хлопаю, а то рѣшительно всѣ, сидящіе возлѣ меня. Сосѣдъ толкаетъ меня въ плечо. Оглядываюсь: вижу—нашъ благодѣтель киваетъ на меня головой, жестикулируетъ, точно въ чемъ-то меня упрекаетъ. Въ недоумѣніи я на него смотрю. Тогда онъ подбѣгаетъ ко мнѣ сзади и говоритъ: „Monsieur, il faut claquer!“ Но слово „claquer“ было для меня еще менѣе понятно, чѣмъ кивки его головы. Тогда онъ, складывая руки ладонями, и то поднимая, то опуская ихъ, говоритъ: „Il faut faire comme ça, comme ça, comme ça!“ Тутъ-то я догадался, что мой дешевый билетъ наложилъ на меня обязанность хлопать. „Но зачѣмъ это?“ спрашиваю

я себя. Мнѣ не столько стыдно, сколько досадно стало, что, ничего не понимая, ни единого слова, что говорится на сценѣ, я долженъ еще апплодировать. Улучивъ удобную минуту, когда всѣ внимательно слушали, я незамѣтно вышелъ въ коридоръ, а оттуда бросился внизъ по лѣстницамъ. Счастливый, что спасся, очутился я на бульварѣ. Когда я вернулся домой и о случившемся рассказалъ Антокольскому, то онъ долго хохоталъ. „Ты, голубчикъ, въ клакеры попалъ; знаешь, что это?“ И рассказалъ мнѣ подробности этого сорта рекламы. „Но совѣтую“, закончилъ мой бывший учитель, „не рассказывай никому, какъ ты попался: будутъ смѣяться надъ тобой“.

Разъ въ недѣлю, кажется, по вторникамъ, я проводилъ въ обществѣ русскихъ художниковъ, въ такъ называемомъ русскомъ клубѣ. Онъ помѣщался въ домѣ барона Гинцбурга, rue Tilsite 7, очень близко отъ меня и отъ Антокольскаго. Тамъ всегда собирались почти всѣ русскіе художники, живущіе въ Парижѣ, но бывали и посторонніе: пріѣзжіе русскіе. Вечеръ проходилъ всегда очень оживленно, въ разговорахъ, рисованіи и чаепитіи, и я аккуратно посѣщалъ эти вечера. Предсѣдателемъ этого общества тогда былъ И. С. Тургеневъ, который не всегда бывалъ. Но когда онъ приходилъ, то всѣ его окружали и съ жадностью ловили каждое его слово. Говорилъ онъ, впрочемъ, мало, и я не помню его разговоровъ, кромѣ одного анекдота, какой обыкновенно рассказывается въ мужской компаніи послѣ обѣда. Но душой вечера всегда бывалъ Боголюбовъ. Онъ какъ будто представлялъ собою главную силу общества. Больше всѣхъ онъ говорилъ и рассказывалъ, да и дѣйствительно больше другихъ зналъ все, что дѣлается въ Парижѣ и въ Россіи. Имѣя большія знакомства какъ въ русскихъ, такъ и во французскихъ высшихъ сферахъ, онъ много дѣлалъ для молодыхъ нуждающихся художниковъ. Доставалъ стипендіи и работы, и солид-

ные художники часто пользовались его услугами; нѣкоторымъ онъ доставлялъ заказы, а иногда и ордена. Но покровительствуя однимъ, онъ иногда обходилъ другихъ. Горе было тому, кто ему почему-либо не нравился, такому онъ не только добра не дѣлалъ, но иногда и вредилъ. Не забуду бѣднаго, разбитаго параличемъ художника Егорова. Его не полюбилъ всеильный Боголюбовъ и всячески отказывалъ ему въ какой-либо помощи. Въ обществѣ Боголюбовъ всегда рисовалъ; спичку или свернутую въ трубочку бумажку онъ макалъ въ чернильницу и этимъ дѣлалъ въ нѣсколько часовъ красивый морской видъ или пейзажъ. При этомъ онъ громко рассказываетъ, какъ онъ былъ у такого-то высокопоставленнаго лица, какъ его приняли, и какъ ему удалось выхлопотать для бѣднаго ученика стипендію. Изъ этихъ разсказовъ видно было сознаніе собственной силы и его вліянія въ высшихъ кругахъ общества. Нѣкоторые бѣдные художники, заискивающие его расположенія, съ особеннымъ подобострастіемъ слушали разказы этого генерала-художника, какъ его всѣ называли въ Парижѣ. Другіе молодые художники, которые были ему дѣйствительно обязаны, съ благоговѣніемъ смотрѣли на своего благодѣтеля. Болѣе индифферентно относились къ разсказамъ Боголюбова художники уже извѣстные, не нуждающіеся въ немъ, какъ Харламовъ, Леманъ, Вилліе и др. Много жизни и веселья вносилъ въ общество вѣчно бодрый и веселый М. Я. Вилліе. Этотъ художникъ, типъ бывшаго военнаго, всегда держался по джентльменски, со всѣми одинаково—вѣжливо и просто. Страстный поклонникъ всего французскаго, онъ до тонкости зналъ Парижъ и частную жизнь французскихъ художниковъ. Изящный, офранцузившійся Харламовъ, добродушный простякъ Леманъ и молчаливый, болѣзненный на видъ, Дмитріевъ-Оренбургскій держались нѣсколько въ сторонѣ, мало вмѣшивались въ общіе разговоры и свои

взяды высказывали отрывочно, иногда въ шутливой формѣ. Многіе изъ этихъ художниковъ состояли членами комитета общества, но о томъ, какъ они тамъ дѣйствовали, было мнѣ неизвѣстно. Антокольскій рѣдко бывалъ въ обществѣ. Но кто больше всего тогда мнѣ нравился, это молодой, еще только начинающій входить въ славу малороссъ Похитоновъ; высокій, некрасивый, съ огромной шапкой всклокоченныхъ волосъ и широко разставленными глазами, онъ былъ, однако, очень симпатиченъ. При всемъ его поклоненіи французскимъ художникамъ-пейзажистамъ, онъ больше другихъ оставался въ душѣ русскимъ. Его скромность и простота располагали всѣхъ въ его пользу. Въ собраніяхъ общества больше всего рассказывалось о событіяхъ дня, сообщались художественныя новости, менѣе всего говорилось о русскихъ художникахъ въ Россіи. Зато съ особеннымъ обожаніемъ говорилось о Франціи и о Салонѣ. Меня поразило это обожаніе и фетишизмъ ко всему безъ разбору: и рекламы, и приторная вѣжливость, и внѣшніе эффекты, все превозносилось наравнѣ съ дѣйствительно хорошими сторонами французскаго художества. Меня огорчало пренебреженіе ко всему тому, что находилось внѣ Парижа, мѣриломъ всего въ искусствѣ былъ салонъ, а единственнымъ признакомъ успѣха художника—парижскіе газетные отзывы.

Помню, какой-то прѣзжій русскій рассказалъ о передвижной выставкѣ въ Петербургѣ. „Вотъ я вамъ, господа, скажу, какой успѣхъ имѣлъ знаменитый №“— „Какой знаменитый?“ спрашиваетъ одинъ изъ офранцузившихся художниковъ. „Чѣмъ онъ знаменитъ? Въ Салонѣ не было его картины? Нѣтъ? Значитъ, онъ не знаменитъ. Парижскія газеты о немъ не писали? Нѣтъ? Значитъ, успѣха еще не имѣлъ. Батенька, кто въ Парижѣ не выставяетъ, того мы не знаемъ. Пускай его работы примутъ въ Салонъ, пускай о немъ говорятъ здѣсь, тогда онъ будетъ признанъ!“ И дѣйстви-

тельно, между собой художники различали другъ друга не по таланту, не по тому, кто что писалъ, а потому, принята ли его работа въ Салонъ, получилъ ли онъ награду. Такой художникъ почитался и уважался всѣми. „Позвольте вамъ представить молодого художника; его картины приняли въ Салонъ“; часто слышалось это изъ устъ корифеевъ художниковъ. О томъ, что за картина, что она представляетъ,—не говорилось. Вообще вопросы объ искусствѣ и о его задачахъ рѣдко затрагивались, и молодые художники, пріѣхавшіе въ Парижъ поучиться, слушая рассказы о важности успѣха въ Салонѣ, о газетныхъ отзывахъ, проникались страстью къ достиженію этой извѣстности, этого успѣха (succés); и вмѣсто того, чтобы искренно работать, слѣдуя внутреннему влеченію, они принимались изучать тѣ вещи въ Салонѣ, которыя больше всего по манерѣ и внѣшней teknikѣ превозносились; начинали подражать салоннымъ *clous* (гвоздямъ). Правда, многимъ начинающимъ молодымъ талантамъ бывала трудна такая погоня за этой изысканной виртуозностью, ради которой приходилось жертвовать своими излюбленными сюжетами; но желаніе держаться въ Парижѣ брало иногда верхъ надъ другими чувствами. Какъ муха, попавшая въ тарелку съ медомъ, прилипаетъ крылышками къ краямъ, такъ иногда эти молодые художники сидѣли годами у ярко освѣщеннаго костра и сами терпѣли холодъ и голодъ. Парижскіе старожилы-художники съ опаскою и недовѣріемъ смотрѣли на пріѣзжихъ русскихъ, зная, съ какимъ трудомъ удастся инымъ проскочить, а въ лучшемъ случаѣ сдѣлаться похожимъ на француза.

Таковымъ казалось мнѣ тогда настроеніе общества русскихъ художниковъ въ Парижѣ. Впослѣдствіи, когда черезъ нѣсколько лѣтъ я вернулся въ Парижъ и посѣщалъ общество, многое уже тамъ перемѣнилось. Я держался въ сторонѣ отъ всѣхъ, и старыхъ, и моло-

дыхъ, и ни съ кѣмъ, кромѣ Зильбермана, не разговаривалъ. Чувствовалъ я себя пришельцемъ, случайнымъ гостемъ; всѣ знали, что я пріѣхалъ въ Парижъ на время, оставилъ петербургскую академію, гдѣ числился ученикомъ. Никто не спрашивалъ, что я дѣлаю, къ чему меня влечетъ. Но былъ такой случай, изъ-за котораго на меня обратили вниманіе. Баронъ У. О. Гинцбургъ предложилъ маленькій конкурсъ—сдѣлать картину или барельефъ на свободную тему по данному размѣру рамки, которая имѣлась у него. Участвовали все молодые художники, которыхъ привлекли три неболынія денежные преміи, и я вытѣпилъ барельефъ, сценку изъ дѣтской жизни: „Масло жмутъ“: шалуны-малычипшки поймали ненавистнаго имъ товарища и на скамейкѣ жмутъ его со всѣхъ сторонъ. Жюри состояло изъ художниковъ, которые не принимали участія въ конкурсѣ. Всѣ удивились, когда узнали, что и Боголюбовъ работаетъ для конкурса; и дѣйствительно, скоро среди представленныхъ вещей мы узнали его картину. На ней была изображена Вапдомская колонна, съ которой летитъ головой внизъ художникъ, держа въ рукахъ палитру и кисть. Внизу у картины написано: „Такова участь художника, который провалится на семъ конкурсѣ“. Всѣ думали, что первую премію присудятъ Боголюбову, какъ болѣе почтенному художнику; да и самъ Боголюбовъ, вѣроятно, былъ въ томъ увѣренъ. Скоро жюри вынесло резолюцію, для всѣхъ неожиданную: первую премію получилъ Похитоновъ, вторую—я, а третью не помню кто. Боголюбовъ такимъ образомъ остался за флагомъ. Курьезно было то, что онъ обидѣлся, сталъ выпучивать конкурсъ, хотѣлъ его разстроить и, наконецъ, въ сердцахъ сказалъ: „ну, ужъ вы, тамъ, неизвѣстно, получите ли вы свои преміи! А я завтра же свою картину предложу купить барону“.

Мнѣ важно было получить денежную премію; деньги мнѣ тогда очень нужны были. Кромѣ того этотъ не-

большой успѣхъ меня пріободрилъ, я почувствовалъ, что я способенъ къ дѣтскому жанру и что послѣ того, какъ оставилъ сюжеты изъ еврейской жизни, ближе всего и интереснѣе всего мнѣ была дѣтская жизнь. Съ тѣхъ поръ я дѣйствительно лѣпилъ все дѣтей. Чтобы совершенствоваться въ рисункахъ, я поступилъ въ частную академію натурщика Колороски, но только нѣсколько недѣль я тамъ рисовалъ: мнѣ не понравилось, какъ всѣ относились къ работѣ. Отношеніе къ рисованію было не болѣе серьезно, чѣмъ къ свисту и пѣнію, которыми оно сопровождалось; поверхностное изученіе природы, не передача дѣйствительности всѣхъ замѣта, а больше щегольство и ловкость наброска. Руководителя никакого не было, и учиться не у кого было. Я предпочелъ лучше не заниматься.

Кромѣ единственнаго развлеченія въ кругѣ художниковъ, все остальное время въ недѣлю я проводилъ въ одиночествѣ. Пріятель мой Зильберманъ влюбился въ француженку (впослѣдствіи онъ на ней женился) и я рѣже сталъ его видѣть. Нѣкоторые русскіе знакомые, съ которыми я хотѣлъ бы повидаться, жили въ другомъ концѣ города и, какъ въ Парижѣ водится, никогда дома не бывали. Французскій языкъ я плохо зналъ, а русскихъ книгъ у меня не было. Иногда мое одиночество приводило меня въ отчаяніе, и вечеромъ меня только раздражалъ этотъ веселящійся Парижъ; онъ только искушалъ мою жаждущую жизни натуру. Бродя по улицамъ, я иногда заходилъ въ какой-нибудь ярко освѣщенный bal. Огромная толпа веселящихся лакеевъ и жокеевъ биткомъ наполняла залу; духота, пыль и смрадъ меня утомляли. Рѣзкая музыка неистово звучала, и дикіе танцы грубаго, развратнаго пошиба возбуждали во мнѣ одно отвращеніе. Танцевали почти на одномъ мѣстѣ, до того тѣсно было. Это были не тѣ танцы, которые я видѣлъ на площади St-Jean de Luz. Тамъ молодые работники и порядочныя дѣвушки

веселились отъ души, здѣсь же забавлялись преимущественно пожилые развратники, насмотрѣвшіеся всякой скверности у своихъ избалованныхъ господъ.

Иногда я гулялъ до изнеможенія и поздно вечеромъ возвращался пѣшкомъ домой. Послѣ шумнаго Парижа загородная жизнь казалась мнѣ мертвой и тоскливой. Усталый, разбитый я входилъ въ свою крошечную комнату, гдѣ запахъ сырости, старья и постельнаго бѣлья раздражалъ меня. Долго, бывало, не засыпаю: мерещатся въ глазахъ бульвары, бал, шумъ и веселье. Бывало, отъ безсонницы пытаюсь писать роднымъ и знакомымъ, но письма выражали у меня такое отчаяніе, такую безнадежность, что я ихъ не отсылать по назначенію. Скоро одно обстоятельство вывело меня изъ этого состоянія. Разъ въ мастерскую Антокольскаго пришла молодая француженка, бывшая модель, красивая и на видъ очень скромная. „А, m-lle Amelie!“ обрадовался ей Антокольскій и протянулъ ей руку. „Bonjour, monsieur!“ кокетливымъ, симпатичнымъ голосомъ сказала гостья. „Mais vous êtes décoré! Comme c'est d'être décoré!“ говоритъ француженка, глядя на красную ленточку, которая красовалась въ петличкѣ Антокольскаго. „Вотъ, рекомендую тебѣ“, обратился ко мнѣ Антокольскій, „премилая, хорошая дѣвушка. Ты выльпи ея бюстъ, она денегъ не возьметъ. Бюстъ ты ей подаришь, а тебѣ будетъ хорошее упражненіе“. — „Кто она такая?“ поспѣшилъ я спросить Зильбермана, стоявшаго за перегородкой. „Прехорошенькая дѣвушка“, подтвердилъ мнѣ другъ. „Она, бѣдная, въ прошломъ году была влюблена въ художника Шведа, который жилъ надъ нами. Онъ уѣхалъ, и она долго горевала. Вотъ цѣлый годъ не показывалась“. Я сталъ лѣпить ея бюстъ и скоро увлекся самой моделью. Послѣ сеансовъ провожалъ ее домой, а иногда по вечерамъ ждалъ ее на улицѣ, чтобы проводить въ школу, гдѣ она училась рисовать. Бюстъ я удачно кончилъ. И вотъ, въ



одинъ прекрасный вечеръ отлитый изъ гипса бюстъ несу въ подарокъ модели. Amélie жила въ Neuilly, у самой Сены. Родителей у нея не было, она жила у бабушки и дѣдушки, глубокихъ стариковъ, консьержей при старомъ необитаемомъ отелѣ, старики занимали флигель, а внучка жила въ мезонинѣ при отелѣ. Старики любезно меня приняли, благодарили за подарокъ, угостили меня кофе, разспрашивали, откуда я, и скоро объявили, что пора имъ ложиться спать. Это было въ 9 часовъ вечера, ни мнѣ, ни Amélie не хотѣлось разставаться. И вотъ французенка придумала слѣдующее: подъ предлогомъ показать мнѣ что-то въ своей комнатѣ, она меня провела къ себѣ, а сама, уложивъ бабушку и дѣдушку спать, объявила имъ, что провожаетъ меня; но выйдя изъ комнаты, стукнувъ наружною дверью и пожелавъ мнѣ спокойной ночи, она вернулась ко мнѣ и мы проболтали нѣсколько часовъ наединѣ.

Съ тѣхъ поръ я часто сталъ бывать въ этомъ бѣдномъ семействѣ. Парижъ я оставилъ, и вмѣсто того, чтобы бродить по освѣщеннымъ улицамъ, я сталъ удаляться на окраину города, въ глушь и тишину. Особенную прелесть представляли мнѣ вечернія прогулки, когда я возвращался одинъ домой, по тихимъ, грустнымъ аллеямъ, мимо запущенныхъ садовъ, заборовъ и кладбища. Поэтичными казались мнѣ въ лунную ночь покрытыя снѣгомъ высокія деревья, аллеи и освѣщенная готическая церковь. Иногда слышно было въ этой церкви пѣніе; я тогда входилъ туда и съ удовольствіемъ слушалъ, какъ на клиросѣ поютъ молодыя англичанки, въ то время, какъ въ другихъ частяхъ города раздавались веселыя пѣсни и оргіи. Благодаря знакомству съ французенкой, я хорошо сталъ понимать по-французски. Вмѣстѣ мы читали книги и газеты. Сталъ я интересоваться парижскими новостями и политикой. Но въ то же время я сталъ манкировать:

иногда работою въ мастерской, а иногда даже не приходилъ обѣдать къ Антокольскому. Отъ Антокольскаго не ускользнуло мое увлеченіе.

Зима близилась къ концу, годъ моего отпуска изъ академіи кончался; мнѣ слѣдовало серьезно подумать о будущемъ. Нѣкоторые совѣтовали мнѣ оставаться въ Парижѣ и тамъ поступить въ академію. Антокольскій обѣщалъ даже выхлопотать, чтобы стипендія, которую я получалъ въ Петербургѣ, переводилась въ Парижъ. Но я чувствовалъ себя неспособнымъ учиться при такихъ условіяхъ, безъ знакомыхъ и родныхъ. Кромѣ того парижская жизнь, казалось мнѣ тогда, мало могла давать матеріала для художника-иностранца. Правда, техника у французовъ такая, что есть чему поучиться, но я уже тогда не могъ отдѣлнить форму отъ содержанія. Впрочемъ, главное, что меня побудило уѣхать, это желаніе повидаться съ знакомыми и съ товарищами по академіи, гдѣ, какъ казалось мнѣ, работалось съ особеннымъ увлеченіемъ. Грустно мнѣ было все-таки разстаться съ Парижемъ; Зильберману и французенкѣ я далъ слово скоро вернуться. Счастливый пріѣхалъ я въ Петербургъ и съ рвеніемъ принялся за занятія; больше, чѣмъ прежде я работалъ, и сомнѣнія, которыя раньше, до отъѣзда изъ Петербурга, меня мучили, теперь исчезли.

---

## Какъ и чему меня учили.

Представьте себѣ крошку-ребенка, вершковъ въ 20, не болѣе, высоты. На него надѣто длинное пальто изъ толстаго офицерскаго сукна; оно доходитъ до земли, такъ что ногъ не видать. Толстый, высокій воротникъ, касается почти края фуражки, которая нахлобучена на маленькую голову мальчика такъ, что кромѣ ушей и части лица ничего не видать. На спинѣ, на томъ мѣстѣ, гдѣ пальто образуетъ пучекъ толстыхъ складокъ, виситъ большая кожаная сумка. Изъ длиннаго рукава торчитъ аршинная линейка. Это — воспитанникъ приготовительнаго класса гимназіи. Я часто его наблюдалъ изъ окна моей комнаты, когда онъ рано утромъ ходилъ въ гимназію. Глядя на него, я всякій разъ отъ души смѣялся; что-то комичное было въ этомъ крошечномъ, еле движущемся существѣ. Но тяжелая, апатичная походка тщедушнаго ребенка внушала жалость къ нему. Онъ точно былъ облеченъ въ панцырь. Мундиръ, какъ сбруя, затруднялъ его дыханіе, сковывалъ его голову и лишалъ его свободы движенія. Однако меня прельщала эта форма, и когда я пріѣхалъ въ Петербургъ, то мечталъ о томъ, чтобы поступить въ гимназію. Добрые знакомые приготовили меня къ экзамену въ 3-й классъ, и когда открылось новое реальное училище, то я подалъ туда прошеніе.

— „Вы хотите поступить въ казенное заведеніе и не знаете правилъ“, сердито говоритъ директоръ, раз-

сматривая мои документы: „такъ прошенія подавать нельзя. Вы пишете: „Желая поступить“... не вы желаете поступить, а васъ опредѣляютъ.—Гдѣ ваши родители?“ спрашиваетъ будущій мой начальникъ, наклонивъ голову въ сторону и вытянувъ обѣ губы впередъ. — „У меня ихъ нѣтъ“, отвѣчаю я робко, не понимая своей вины. — „А заступающіе ихъ мѣсто?“ — „Не знаю“. — „Въ такомъ случаѣ не могу васъ принять. Впрочемъ, приходите завтра съ опекуномъ; я съ нимъ поговорю“, сказалъ директоръ и отвернулся отъ меня. Нашелся благодѣтель, который написалъ, что онъ желаетъ, чтобы я поступилъ въ училище, и тогда меня приняли. Я былъ полонъ счастья: наконецъ буду гимназистомъ, къ чему стремился, о чемъ мечталъ. Учиться у меня была большая охота, а натура у меня была любознательная и способная. Но ученіе началось съ того, чего я не ожидалъ—съ обязанности ученика, какъ себя держать по отношенію къ товарищамъ, съ которыми мнѣ хотѣлось подружиться.—„Это что за дружба?“ замѣтилъ въ первый же день директоръ, увидѣвъ, что я, гуляя съ товарищемъ, положилъ ему руку на плечо, „идите ровно и ведите себя прилично. Да гдѣ вашъ товарищъ по скамейкѣ? съ нимъ вы должны постоянно гулять“. — „Гдѣ вашъ листъ пропускной бумаги?“ спрашиваетъ на другой день наставникъ, рассматривая мой дневникъ.— „Иванову одолжилъ; онъ свой забылъ“. — „Нельзя передавать. Въ другой разъ отмѣчу, что у васъ его нѣтъ“. — „Можно Петрову хрестоматію дать? онъ еще не купилъ“. — „Это безпорядокъ; вы не имѣете права свою книгу одолжать“. — „Кто хочетъ?“ кричитъ во время отдыха простодушный мальчикъ, предлагая остатки своего завтрака.—„Это что такое?“ негодуетъ инспекторъ, внезапно зайдя въ классъ, „у всякаго долженъ быть свой завтракъ. Если вы сыты, можете остатки завтрака отдать внизу швейцару“. — „Дежурный, отчего вы не смотрите за порядкомъ? Ивановъ шепчется со Степано-

вымъ!“—„Кто вскрикнулъ? васъ обидѣли? зачѣмъ вы не жалуетесь? Я спрашиваю — онъ васъ ударилъ? Вы молчите? Я запишу васъ обоихъ!“

Мнѣ тогда казалось, что директоръ, инспекторъ, наставники и служителя—все наблюдали за тѣмъ, чтобы мы между собой не сообщались; почему-то надо было разъединять насъ. Скоро, дѣйствительно, я бросилъ всякія попытки дружить съ товарищами, пересталъ интересоваться ими. Я сталъ равнодушенъ къ ихъ горю и къ ихъ радости, и я замѣтилъ, что и товарищи мои пріобрѣли это равнодушіе.

Изъ всѣхъ предметовъ, которые преподавались въ училищѣ, самыми интересными для меня были исторія и словесность. Въ первой я искалъ разрѣшенія нѣкоторыхъ вопросовъ, которые тогда уже меня мучили; вторая интересовала меня потому, что я много дома читалъ и надѣялся, что въ школѣ я провѣрю свои впечатлѣнія.

— „Мы не только учимъ васъ“, сказалъ разъ директоръ, „но и воспитываемъ васъ, чтобы вамъ все было ясно и опредѣленно“. Съ особеннымъ вниманіемъ слушалъ я то, что говорилъ на урокъ исторіи учитель—старый филологъ, высокій, полный, изящно одѣтый во всегда новый вицмундиръ; бритый, съ круглыми, женственными чертами лица, онъ напоминалъ римскаго патриція. Медленно, ровно, улыбаясь, онъ рассказывалъ о жизни древнихъ народовъ, персовъ, грековъ и римлянъ такія вещи, которыя вызывали въ классѣ изумленіе, и мы часто удивленно переглядывались: азіатскій властелинъ угощаетъ своего гостя, другого властелина, мяснымъ блюдомъ. „Вкусно?“ спрашиваетъ хозяинъ.—„Да“, отвѣчаетъ гость.—„Это я зажарилъ твоего единственнаго сына“, говоритъ хозяинъ.—„Конечно, это совершенно изъ мести“, прибавляетъ, равнодушно улыбаясь, учитель.—Консулъ въ римскомъ сенатѣ показываетъ фрукты, вывезенные имъ изъ Карфагена и говорить сенаторамъ: „Неужели мы потерпимъ такую страну

возлѣ Рима?“—„Это была причина разрушенія Карфагена“, объясняетъ учитель серьезнымъ тономъ и велитъ запомнить годъ.—Право на остріѣ моего меча.—Горе побѣжденнымъ!—Police versa!—Пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ.— СлаваThemistocle не даетъ мнѣ покоя. Такими фразами, анекдотами изобилуетъ каждый урокъ исторіи. Учитель точно забавляетъ насъ, хотя онъ не можетъ не замѣчать эффекта, который производятъ на насъ эти лаконическія фразы, ибо послѣ каждого урока я и товарищи мои бывали всегда въ возбужденномъ состояніи. Для меня, воспитаннаго въ провинціальномъ еврейскомъ городѣ, въ страхѣ къ убійствамъ, въ ненависти къ насиліямъ, то, что я узналъ здѣсь о прошломъ великихъ народовъ, казалось необычайнымъ, и тщетно я ожидалъ отъ учителя выраженія негодованія, осужденія или объясненія ужасныхъ поступковъ. И не я одинъ приходилъ въ нервное состояніе; многіе мои товарищи, на видъ флегматичные, до неузнаваемости мѣнялись послѣ урока исторіи; глаза, я помню, у многихъ горѣли особенно возбужденно.—„Я—Юлій Цезарь!“ закричалъ разъ маленькій, тщедушный мальчикъ, становясь на столъ и отмахиваясь отъ товарищей линейкой.—„Пришелъ, увидѣлъ побѣдилъ!“ кричитъ другой, огромный дѣтина, лѣнивый и тупой, ошеломивъ товарища ударомъ сумки по головѣ.—„Ребята, пойдѣте на второй классъ, разобьемъ его!“ кричитъ третій.—„Бей по рукамъ!“ визжитъ очень нервный, болѣзненный мальчикъ, изображая изъ себя Горація Коклеса.—„Я Муцій Сцевола!“ оретъ другой, вытягивая свою жалкую грудь.—„Умирая, привѣтствую тебя“, говоритъ мечтательный мальчикъ, ложась на полъ и изображая собою умирающаго гладиатора.—„Всѣхъ вздую, несчастная, жалкая чернь!“ кричитъ въ изступленіи мальчикъ съ оттопыренными ушами.—„Плебей, что тебѣ нужно? хлѣба и зрѣлищъ?“ наступая на меня, угрожаетъ кулаками старшій въ классѣ ученикъ.

Иногда нашъ старенькій педантъ-директоръ и его помощникъ, нѣмецъ-инспекторъ, проходя мимо класса и наталкиваясь на подобныя сцены, дѣлали видъ, будто они ихъ не замѣчаютъ. Въ такихъ случаяхъ директоръ, бывало, беретъ подъ руку инспектора и уводитъ его въ коридоръ; оба шепчутся и улыбаются. „Будущіе граждане“, замѣчаетъ довольный инспекторъ. И я чувствовалъ, что наши выходки если не открыто поощряются, то считаются, по крайней мѣрѣ, не вредными. Мы „усвоили себѣ предметъ“, возбудившій тѣ чувства, которыя начальство хотѣло намъ внушить. Я понималъ, что наша солидарность на почвѣ этихъ чувствъ одобрялась болѣе, чѣмъ солидарность на почвѣ товарищеской дружбы.

Среднюю исторію я совсѣмъ не понималъ: нѣтъ полководцевъ, нѣтъ героевъ; сто, тридцать, семь лѣтъ народы, бѣдствуя, дерутся, чтобы предоставить корону тому, кого не знаютъ. Новая исторія совершенно сбила меня съ толку. Почему, послѣ всѣхъ опустошеній изъ-за войнъ, появились открытія, изобрѣтенія? Почему короли покровительствуютъ наукамъ и искусствамъ и сами не охотно воюютъ, какъ прежде. Когда я окончилъ реальное училище, то представленіе у меня о прошломъ людей было самое плачевное. О народахъ, какъ они жили и живутъ, чѣмъ они жили и живутъ—я меньше зналъ, чѣмъ о растеніяхъ и животныхъ; о Россіи я зналъ меньше, чѣмъ о Греціи. Я зналъ много о военачальникахъ, о законодателяхъ, о короляхъ и ихъ любимцахъ. Хронологія—это перечисленіе ихъ поступковъ, ихъ дѣяній. Народъ, „чернь“, или воевалъ или бунтовалъ; въ промежуткахъ между войнами, въ междоусобицахъ народъ спалъ и ничего не дѣлалъ. О государствѣ я имѣлъ такое представленіе, что чѣмъ чаще оно затѣваетъ побѣдоносныя войны, тѣмъ оно богаче, могущественнѣе и тѣмъ почетнѣе оно считается.— „Шведы“, говоритъ мой товарищъ, первый ученикъ въ

класѣ, „вѣдь это жалкій народъ: что о немъ слышно? ничего. Вотъ уже сколько столѣтій не воюютъ; точно спятъ“. — „Война — это гроза“, говоритъ намъ учитель русскаго языка: „она освѣжаетъ; послѣ нея все опять расцѣтаетъ“. — „Грудь съ грудью, плечо къ плечу!“ съ паѳосомъ декламируетъ нашъ учитель нѣмецкаго языка. „Чего церемониться съ турками—раздавить ихъ!“ говоритъ нашъ учитель географіи. — Я завидовалъ смѣлости сужденій нѣкоторыхъ моихъ товарищей, вмѣстѣ со мной окончившихъ училище: они на все находили оправданіе въ исторіи и вездѣ искали аналогіи, находили объясненіе. Я же ни въ чемъ не могъ разобраться. На самыя простыя вопросы мнѣ отвѣчали: „да это въ Греціи уже было, такой-то философъ проповѣдывалъ; новаго ничего тутъ нѣтъ“. — „Смотря съ какой стороны разсматривать эту мѣру“, говоритъ бывший мой товарищъ, а теперь—студентъ; „если съ точки зрѣнія государственной, то это необходимо, да пожалуй и справедливо“. — И вотъ все мое міровоззрѣніе раздваивается: на точку зрѣнія того, что чувствую, что считаю справедливымъ, но что боюсь высказывать, и на точку зрѣнія т. н. государственную, къ которой привела меня официальная школа и которая всѣмъ понятна. Съ точки зрѣнія государственной я узналъ, что завоеваніе, покореніе, лишеніе правъ и преимуществъ однихъ приноситъ пользу другимъ, улучшаетъ жизнь большинства людей и создаетъ культуру. Съ точки зрѣнія государственной я узналъ, что я ничто; я еврей, государство русское; хозяева русскіе, а я инородецъ. Однако я—русскій подданный, но религіи я другой, и потому мои братья и сестры не могутъ жить въ Петербургѣ, не могутъ со мною видѣться. Однако, кончивъ высшую государственную школу, они приобрѣтаютъ право жительства. Правожительства имѣютъ евреи — купцы, заплатившіе государству за гильдію, а также евреи, принявшіе христіанство. — Къ чему всему этому меня учили? думалъ



я часто съ досадою, чувствуя разладъ между всѣмъ тѣмъ, что видѣлъ, что инстинктивно сознавалъ и тѣмъ, что мнѣ внушили въ школѣ.

Выше я сказалъ, что дома, внѣ школы, я много читалъ. Въ свободное отъ скучнѣйшихъ уроковъ время я прочелъ почти всѣ сочиненія лучшихъ русскихъ писателей; да рѣдкій товарищъ по классу не зналъ Пушкина, Лермонтова, Гоголя и многихъ другихъ. Конечно, обожаніе и увлеченіе этими писателями было огромное. Но, какъ урокъ исторіи возбуждалъ одно негодование, такъ и урокъ русскаго языка, на которомъ разбирались сочиненія лучшихъ авторовъ, вызывалъ во мнѣ досаду и разочарованіе. Вспоминаю слѣдующій характерный случай. Учитель меня вызываетъ: „читайте „Украинскую ночь“.—Я вспыхнулъ отъ радости: какъ разъ наканунѣ товарищъ читалъ мнѣ это вслухъ. Три раза мы перечитывали эту поэтическую вещь. Отъ восторга я долго не могъ заснуть.—Вотъ покажу я товарищамъ, какъ это надо читать; пусть насладятся.— „Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь въ нее....“—начинаю я съ восторгомъ и упоеніемъ. „Стойте!“—кричитъ учитель, стуча карандашомъ по каедрѣ,—„куда бѣжите? вы точно поэтъ“, ухмыляясь говорить учитель, и отъ этихъ словъ почему-то мнѣ стыдно стало.—„А вотъ разберите-ка: скажите, почему авторъ спрашиваетъ, знаете ли вы украинскую ночь, и самъ отвѣчаетъ, что не знаете. Если онъ знаетъ, нечего и спрашивать“.—Я не знаю, что отвѣтить; товарищи мои были также смущены вопросомъ. Такъ разбирались лучшіе русскіе писатели.—„Въ минуту жизни трудную“,—вмѣсто „трудную“ что можно еще сказать? „Три гордыя пальмы высоко расли“,—„отчего „гордыя“?“—Въ особенности доставалось животнымъ крыловскихъ басенъ. „Отчего муравей называетъ стрекозу кумушкой? Что могла бы еще отвѣтить ворона лисицѣ?“ Все изящное, все та-

лантливое и вполне понятное запутывалось, затемнялось. Когда я окончилъ училище, то я долго не могъ свободно и легко излагать мои мысли на бумагѣ. Знание синтаксиса сковывало мои мысли, сокращало и уродовало ихъ. Простыя письма я писалъ съ трудомъ. Я пишу товарищу: „Пришлите мнѣ книгу, которую я вчера забылъ у Васъ; она мнѣ нужна“, и я передѣлываю: „Нуждаясь въ книгѣ, которую я вчера у Васъ забылъ“...

## II.

Въ моихъ запискахъ „Какъ я сдѣлался скульпторомъ“, я описывалъ мое учение въ Академіи Художествъ. Въ сущности это была та же система, что и въ средней школѣ: тѣ же Агамемноны, Менелай, Цезари, тѣ же повелители, полководцы, храбрые, величественные, и та же несчастная чернь и низкопоклонный народъ. По части техники—вмѣсто этимологическаго разбора—анатомія, вмѣсто синтаксиса—композиція.—„Гдѣ у васъ будетъ колѣнka?“ спрашиваетъ меня профессоръ, указывая на вытѣпленную мною лежащую фигуру.—„Отнимите одну руку плачущей фигуры; откиньте ее назадъ, это дастъ просвѣтъ въ композиціи и заполнить фонъ“.—„Поверните эту фигуру лицомъ въ сторону“.—„Но тогда она не туда смотритъ“, говорю я.—„Это ничего“, отвѣчаетъ опытный профессоръ, „нарисуйте съ другой стороны собачку, тогда фигура будетъ на нее смотрѣть“.—Въ старшихъ классахъ я лѣпилъ съ голыхъ натурщиковъ, но я не долженъ былъ придерживаться правды, натуры.—„Онъ у васъ похожъ; видно, что это Иванъ съ его худыми ногами“, говоритъ съ упрекомъ профессоръ. Все дѣло учения состояло въ изображеніи какого-то красиваго мужекаго тѣла, котораго, кромѣ гипсовъ, я нигдѣ не видалъ. Молодой профессоръ, ставя натуру въ классѣ десятками, браковалъ натурщиковъ, злился, что природа не такъ ихъ создала.—„Тѣфу, дуракъ! на обѣихъ

ногахъ стоитъ!“ негодуешь профессоръ на натурщика:— „Иванъ, ты, вѣроятно, много каши ѣшь, что у тебя животъ такой большой“, дѣлаетъ профессоръ выговоръ мужику-натурщику.

Три—пять—восемь лѣтъ рисують, лѣпять въ классахъ натурщиковъ, и мнѣ представлялось, что рисовать, лѣпить и писать красками можно научиться только на тѣлѣ и что одно голое тѣло развиваетъ технику и даетъ понятіе о пропорціи и о размѣрахъ. Мой товарищъ вылѣпилъ старуху, но сперва, по правиламъ, вылѣпилъ онъ ее голую,—никакимъ образомъ не могъ онъ потомъ одѣть—все молодая выходила. У моихъ знакомыхъ я увидѣлъ группу трехъ стариковъ, сидящихъ на скамейкѣ. Въ головахъ я узналъ Полонскаго, Фета и Толстого.— „А почему они голые?“ спрашиваю я художника.— „Я еще не успѣлъ одѣть ихъ“, отвѣтилъ онъ. Однако они голыми остались. — Исторія искусствъ вродѣ всемірной: Периклы, Медичи, Людовики—все заботятся объ искусствѣ. Только благодаря меценатамъ — покровителямъ процвѣтаетъ искусство. Самъ народъ безъ войнъ, безъ торжественныхъ выходовъ меценатовъ не зналъ-бы, какъ проявить свой талантъ и никогда ничего не дѣлалъ-бы,—думалъ я. Для развитія творческаго духа, т. е. для развитія того, что менѣ всего подается руководительству, я исполнялъ историческія задачи, и взгляды на историческія событія я долженъ былъ проводить какъ въ средней школѣ. Духовные сюжеты изъ Священнаго Писанія я долженъ былъ трактовать по шаблону эпохи ренессанса. Св. Магдалина—съ обнаженными грудями, полная, съ чудесными волосами, съ кокетливыми жестами изящныхъ рукъ, а самъ Христосъ—безукоризненный красавецъ по тѣлосложенію, съ самодовольнымъ лицомъ, граціозно ходить по водамъ и летаетъ по небесамъ. Жизнь современная, торчащая передъ глазами моими, была тогда, когда я учился, изгнана изъ Ака-

демин. Рекомендовалось съ этой жизнью подождать, когда школа сдѣлала свое.

Когда я кончилъ Академію, то со мною случилось нѣчто подобное тому, что случилось по окончаніи курса наукъ въ средней школѣ: я впалъ въ какое-то оцѣпенѣніе и долго не могъ придти въ себя отъ всего того, чѣмъ былъ начиненъ. Что-бы я ни начиналъ лѣпить,—я видѣлъ передъ собою анатомію, статуи, композицію, но не видѣлъ того, что было передъ глазами. И также какъ воспитаніе въ средней школѣ привило мнѣ сбивчивыя понятія о людяхъ, о государствѣ, также воспитаніе въ Академіи, ученіе о красотѣ (эстетика) запутало мои представленія о свойствахъ таланта, о задачахъ искусства. Двѣнадцать лѣтъ я воспитывался въ официальныхъ государственныхъ учрежденіяхъ, и если я удостоился бы права поѣздки за границу на казенный счетъ, то мое воспитаніе продолжалось бы 18 лѣтъ. Не знаю, во что обходится народу воспитаніе каждаго ученика. На счетъ себя я скажу, что, судя по тому, что мнѣ приходилось потомъ годами работать, чтобы радикально мѣнять то, что внушали школы, я убѣдился, сколько лишнихъ народныхъ средствъ и силъ потрачено для школъ, на то, что не имѣетъ ничего общаго съ развитіемъ и съ просвѣщеніемъ.

Тремъ обстоятельствамъ обязанъ я, главнымъ образомъ, моимъ послѣдующимъ развитіемъ: 1) наблюденіямъ надъ дѣтьми простыхъ, бѣдныхъ родителей, которыя въ теченіе многихъ лѣтъ служили мнѣ моделями для моихъ дѣтскихъ группъ, 2) моимъ частымъ поѣздкамъ за границу и 3) моему близкому знакомству съ замѣчательными русскими людьми, въ особенности съ В. В. Стасовымъ, Л. Н. Толстымъ и П. А. Крапоткинымъ. Благодаря этимъ обстоятельствамъ развитіе мое приняло особенное направленіе, многое, что мнѣ было прежде затуманено, потомъ объяснилось.

---

## Концертъ.

Дочь извѣстнаго богача П., барышня молодая, очень красивая и образованная, была большою поклонницей таланта моего учителя М. М. Антокольскаго; она часто посѣщала его мастерскую; тамъ она видѣла меня, тогда еще мальчика, только что пріѣхавшаго изъ провинціи.— „Посмотри, какая милая барышня П.“, сказалъ мнѣ однажды мой учитель; „зная, что я боленъ, она приглашаетъ тебя на концертъ Ант. Рубинштейна въ Дворянское Собраніе. Вотъ билетъ. Какъ важно: ты будешь сидѣть рядомъ съ ней“. Я, признаться, не совсѣмъ понималъ важность этого приглашенія: никогда еще я не былъ ни въ театрѣ, ни въ концертѣ, но по радостному виду моего учителя я понималъ, что мнѣ предстоитъ рѣдкое удовольствіе и большая честь.

Умывшись и одѣвшись по праздничному, я собрался уходить. „Вотъ тебѣ деньги“, сказалъ мой учитель. „Найми извозчика въ Дворянское Собраніе, а когда сядешь на мѣсто, то первымъ долгомъ передай поклонъ отъ меня и поблагодари за приглашеніе. Главное—не забудь поклонъ передать“.

Когда я подъѣхалъ къ Дворянскому Собранію, то меня смутилъ огромный сѣздъ. На лѣстницахъ была такая давка, что я съ большимъ трудомъ добрался до входа въ залъ. Тутъ у дверей контролеръ потребовалъ билетъ, и я только успѣлъ отдать ему весь билетъ, какъ толпа втокнула меня въ залъ и оттиснула меня въ сторону, въ мѣста за колоннами. Я увидѣлъ всю

огромную залу, ярко освѣщенную и биткомъ набитую людьми. Меня поразили огромныя бѣлыя колонны, и это море людей, которые, какъ мнѣ казалось, сидѣли другъ на другѣ. „Гдѣ мнѣ искать моей благодѣтельницы“, подумалъ я, „и до залы мнѣ трудно пробраться“. Постепенно меня отодвинули еще дальше въ глубину. Я очутился близъ стѣны, въ тѣсотѣ, въ духотѣ, ничего не понимая и ничего не видя, что дѣлается вокругъ меня. Страшный шумъ отъ аплодисментовъ меня испугалъ, но за шумомъ послѣдовала особенная тишина: все превратилось въ слухъ и вниманіе. До меня доносятся звуки отъ рояля, но я мало понимаю музыку и она меня мало занимаетъ. Мое вниманіе всецѣло поглощено страннымъ старикомъ; онъ стоитъ одинъ, повернувшись къ стѣнѣ и почему-то качаетъ головой и двигаетъ руками, точно китайская фарфоровая фигурка, которую я видѣлъ въ окнѣ одного чайнаго магазина. „Чудакъ“, подумалъ я, „зачѣмъ онъ говорить съ самимъ собою“.

Раздался оглушительный громъ рукоплесканій, но скоро опять все утихаетъ. Старикъ повернулся лицомъ ко мнѣ; онъ смотритъ на меня своими большими выпуклыми глазами, но онъ точно меня не видитъ и все продолжаетъ качать головою и руками. Въ изумленіи я снизу смотрю на него. Его губы что-то шепчутъ. И какъ странно онъ одѣтъ, вокругъ шеи у него обернуть галстухъ, толстый, какъ полотенце — жилетъ бархатный, а сюртукъ старомодный. „Очевидно ненормальный“, рѣшилъ я.

Опять раздаются неистовые крики и на этотъ разъ долго несмолкаемые. Публика приходитъ въ движеніе и направляется къ выходу; вмѣстѣ съ толпою и я выхожу на лѣстницу. Я понялъ, что концертъ еще не кончился, но мнѣ скучно стало въ этой сутолокѣ и я уѣхалъ.

Отчего такъ рано? спросилъ мой учитель, когда я вернулся домой. — „А поклонъ ты передалъ?“ — „Нѣтъ“, отвѣтилъ я. И я рассказалъ, какъ неудачно я стоялъ,

ничего не видя въ тѣснотѣ. „Что ты сдѣлалъ“, схватилъ себя за голову мой учитель, „ты стоялъ Богъ знаетъ гдѣ, въ какомъ-то углу, а у тебя былъ билетъ перваго ряда креселъ. Гдѣ же твой билетъ?“—При входѣ въ залъ я отдалъ его“, отвѣтилъ я виноватымъ голосомъ. Я понялъ, что сдѣлалъ какую-то глупость и что я страшно огорчилъ моего учителя. Отъ досады я готовъ былъ заплакать. „Отчего же ты, по крайней мѣрѣ, не разыскалъ барышню“.—Да я не могъ и въ залъ пробраться, такъ много было народу“, отвѣтилъ я почти плачущимъ голосомъ. „Безтолковый“, сердится мой учитель и зашагалъ быстро по комнатѣ. „Зачѣмъ онъ меня послалъ туда, лучше сидѣлъ бы я дома и книжку почиталъ бы“, думаю я.

Мой учитель вдругъ останавливается и въ раздумьѣ говоритъ: „хорошо еще, что тебя не раздавили. Кажется, насчетъ билета я и забылъ тебѣ сказать, что надо номеръ сохранить. Самъ я виноватъ“, добавилъ онъ про себя“. Что же, по крайней мѣрѣ, ты что-нибудь слышалъ, понравилось тебѣ“, сказалъ онъ мягкимъ, добрымъ голосомъ, и мнѣ показалось, что вся его сердитость прошла и что по прежнему онъ ко мнѣ ласковъ. „Да“, отвѣтилъ я нерѣшительно, и, чтобы хоть что нибудь рассказать о вечерѣ, я описалъ старика, который стоялъ возлѣ меня“. „Я боялся этого чудака“, заключилъ я свой рассказъ.—„Нѣтъ, чудакъ—это ты. Знаешь, возлѣ кого ты стоялъ. Возлѣ знаменитаго пѣвца Петрова, вотъ карточка его въ роли Сусанина“, и М. М. показалъ мнѣ въ альбомѣ его портретъ. Всмотриваюсь — дѣйствительно, это тотъ старикъ, котораго я принялъ за сумасшедшаго. „Куда тебѣ до такихъ концертовъ. Тебѣ надо дома сидѣть и учиться“, недовольно сказалъ М. М. и замолчалъ.

На слѣдующій день при мнѣ М. М. получилъ письмо отъ П. „Вотъ видишь, что ты надѣлалъ. Барышня безпокоится, почему ты вчера не былъ, спрашиваетъ, здоровъ ли ты“. И онъ сѣлъ писать ей отвѣтъ“. „Я пишу,

что я не могъ тебя вчера отпустить“, говоритъ онъ разсѣянно, запечатывая письмо и передавая его мнѣ, „такъ и ты говори ей на словахъ. Да, я забылъ тебѣ сказать, что она приглашаетъ тебя сегодня на обѣдъ. Пойдешь пораньше, часовъ въ пять, только пожалуйста, не сдѣлай опять какой-нибудь глупости: не поставь меня въ неловкое положеніе“.

Въ вестибюлѣ богатаго дома-особняка, толстый красивый швейцаръ долго разспрашивалъ меня, зачѣмъ мнѣ нужна барышня П. Онъ послалъ съ докладомъ другого лакея, который скоро появился на верхней площадкѣ широкой лѣстницы и попросилъ меня слѣдовать за нимъ. Черезъ огромные залы съ зеркалами до потолка, черезъ зимній садъ и черезъ какіе-то коридоры, обставленные большими шкапами, меня повели въ отдѣленіе, гдѣ жили барышни. Я передалъ письмо, поклонъ и благодарность отъ моего учителя. Меня угощали конфетами и чаемъ.

— „Пойдемте, мы вамъ покажемъ наши картины и статуи“, сказали барышни и онѣ повели меня по разнымъ заламъ, въ которыхъ блескъ золотыхъ украшеній на стѣнахъ и на мебели меня больше поражалъ, чѣмъ тусклыя старинныя картины, которыхъ я тогда не понималъ.

„А вотъ кабинетъ папа“, сказала старшая барышня, впуская меня въ комнату, всю обставленную вещами, „тутъ надо быть осторожнымъ; папа не любитъ, когда его вещи трогаютъ“. Я разсматриваю столъ, хочу повернуться, но спотыкаюсь, о коверъ, толкаю ширмочку и опрокидываю маленькую тумбочку, на которой стояла фарфоровая фигурка. „Боже мой какое несчастье“, воскликнула младшая барышня. „Любимая вещь папа разбилась“. — „Тише, говоритъ старшая, вся поблѣднѣвъ. Папа еще услышитъ и взойдетъ. Поскорѣе соберемъ обломки. Я скажу, что взяла фигурку, чтобы срисовать ее, а пока отдамъ ее склеить“.



Мы вернулись въ комнату и всѣ чувствовали страшную неловкость. Долго разговоръ нашъ не вязался. — „Любите стихи? Хотите, я прочту вамъ кое-что изъ А. Майкова“, говоритъ старшая, желая меня развлечь; и она начала читать монотоннымъ, скучнымъ голосомъ. „Нравится вамъ?“ спрашиваетъ она по окончаніи чтенія. „Да“, отвѣчаю я вѣжливо, ничего не понявъ изъ того, что она читала. — Я вообще плохо зналъ тогда русскій языкъ. — „Теперь я вамъ прочту стихи Як. Полонскаго, — это вамъ еще больше понравится“. Моя тоска увеличивается; притомъ я начинаю чувствовать голодъ: съ утра я ничего не ѣлъ; дома я привыкъ обѣдать въ пять часовъ, а теперь уже восьмой часъ. — „Когда же, наконецъ, дадутъ ѣсть, думаю я, будетъ ли когда нибудь конецъ чтенію“. Но послѣ Полонскаго читался А. Толстой. Я пересталъ слушать и, чтобы убить время, я считаю рожки въ большихъ канделябрахъ, слѣжу за движеніемъ маятника въ большихъ англійскихъ старинныхъ часахъ. Часы начинаютъ бить медленно, монотонно, въ униссонъ съ чтеніемъ. Я считаю разъ, два, три... восемь... „Боже мой, уже восемь часовъ. Такъ поздно, а все ѣсть не даютъ. А вдругъ уже отобѣдали; я, можетъ быть, пришелъ слишкомъ поздно“. Отъ одной этой мысли голова у меня закружилась. Я чувствую, что голодъ подступаетъ къ сердцу и что я начинаю слабѣть. Въ глазахъ у меня дѣлается темно, — все кругомъ меня сливается въ одно. Чтобы не обнаружить своего состоянія, я стараюсь смотреть на свои руки, на кончики своихъ ногъ.

„Что съ вами?“ вдругъ воскликнула младшая барышня. „Смотри, какъ онъ поблѣднѣлъ“, говоритъ она сестрѣ. „Поскорѣ воды дайте“, говоритъ старшая, испуганно подбѣжавъ ко мнѣ. „Вамъ дурно?“ спрашиваетъ она. „Нѣтъ, ѣсть хочу“, отвѣчаю я чуть слышнымъ слабымъ голосомъ. „Пожалуйте къ обѣду“, раздается чей-то голосъ въ дверяхъ, и этотъ голосъ меня разбудилъ.

## Обѣдъ.

Красавица молодая баронесса, побывавъ въ мастерской Антокольскаго, пригласила меня къ себѣ на обѣдъ. Это былъ мой первый обѣдъ въ очень богатомъ домѣ. Я не зналъ, какъ себя держать. Нечего говорить, что воспитанный въ бѣдномъ еврейскомъ семействѣ, я понятія не имѣлъ о манерахъ. Этотъ обѣдъ остался у меня въ памяти; не могу безъ смѣха вспомнить о немъ.

Обѣдъ былъ парадный. Къ столу пошли попарно, съ дамами. Меня усадили между англичанкой и незнакомымъ господиномъ, говорившимъ по-французски. Множество рюмокъ и сервизъ смутили меня. Я чувствовалъ, что тутъ ѣдятъ особенно и что надо присматриваться. Осторожно я раскладываю толстую салфетку и по примѣру сосѣда начинаю ложкой рѣзать яйцо въ зеленыхъ щахъ. Меня яйцо не слушается; я надавливаю, и щи черезъ край тарелки переливаются на чудную, толстую, какъ доска, скатерть. Я страшно смущенъ. Оглядываюсь — никто не смотритъ. Тогда я осторожно придвигаю кусокъ хлѣба и имъ покрываю пятно. Второе блюдо не ѣмъ. Третье меня смущаетъ. Я голоденъ, съ утра ничего не ѣлъ. Соблазняюсь и беру цыпленка. Пробую его рѣзать, но отъ моихъ неумѣлыхъ стараній косточка вываливается черезъ край тарелки. Пришлось пальцами водворить ее опять обратно на мѣсто. На этотъ разъ даю себѣ слово больше ничего не ѣсть.

Казалось мнѣ, что мои неловкости не были никѣмъ замѣчены. Но красивый лакей въ бѣлыхъ перчаткахъ, полукруглой щеткой очистивъ то мѣсто, гдѣ лежалъ мой хлѣбъ, открылъ пятно отъ супа! Подали сладкое. Я свободно вздохнулъ: „Конецъ моимъ приключеніямъ“; думалъ я. Но баронесса замѣтила, что я мало ѣмъ, по-англійски что-то сказала моей сосѣдкѣ, и та положила мнѣ на тарелку мандаринъ. Присматриваюсь, какъ кто чиститъ его: одни рвутъ корку пальцами, другіе рѣжутъ ножомъ. Я выбираю первый способъ, какъ не нуждающійся въ орудіи. Отрываю ломтикъ отъ мандарина и осторожно кладу его въ ротъ. Но вдругъ, совершенно неожиданно, зернышко отъ мандарина выскакиваетъ у меня изо рта и падаетъ прямо на руку сосѣдкѣ. Отъ смущенія я готовъ бы провалиться сквозь землю.

На этомъ не кончились мои непріятности, и конецъ вечера былъ такой же неудачный, какъ и его начало. Когда я уходилъ и въ швейцарской надѣвалъ свое убогое, жиденькое пальто и смятый картузъ, то у дверей, замѣтилъ я, стоялъ господинъ и, какъ показалось мнѣ, очень важный: высокій, красивый, въ большой медвѣжьей шубѣ. Одинъ воротникъ могъ бы меня закрыть съ головы до ногъ. Какъ видно, онъ собирался уходить, и когда швейцаръ открылъ для меня дверь, я отстранился, желая дать дорогу этому важному гостю.

— Баронесса приказала васъ проводить, обращаясь ко мнѣ, произнесла эта важная, представительная фигура. Всматриваюсь и вижу въ немъ что-то знакомое. — „Да это тотъ лакей, который за обѣдомъ очистилъ мой хлѣбъ со стола и открылъ мое позорное пятно!“ — Дѣлать нечего, надо подчиниться приказу баронессы. Пропустивъ меня впередъ, провожатый заложилъ руки крестъ-накрестъ и пошелъ позади меня важной, медленной походкой. Признаться, я не имѣлъ ничего противъ того, чтобы меня провожали; вечеръ былъ темный,

а мѣстность — конецъ Англіійской набережной — очень глухая. Я недавно только пріѣхалъ въ Петербургъ и боялся ходить одинъ. Но я былъ очень легко одѣтъ; въ особенности зябли у меня ноги, которыя были очень скверно обуты. На улицѣ стоялъ свирѣпый морозъ. Будь я одинъ, я побѣждалъ бы и этимъ согрѣлъ бы ноги, но тутъ мнѣ неловко было удалиться отъ провожатаго, который, какъ мнѣ казалось, не въ состояніи былъ быстро ходить изъ-за тяжелой шубы. Пришлось мнѣ итти шагомъ, и я очень страдалъ отъ холода. На Николаевскомъ мосту къ морозу прибавился и вѣтеръ. Руки мои окоченѣли отъ холода. Я не выдержалъ и, оборачиваясь къ моему благодѣтелю, говорю:

— Можете домой итти, теперь я знаю дорогу, самъ пойду.

— Баронесса приказала проводить васъ, отчеканивая каждое слово, произнесъ онъ, точно выучилъ эту фразу наизусть. Я чувствовалъ страшную боль въ ногахъ и, бросивъ всякій стыдъ передъ баронскимъ посыльнымъ, началъ подпрыгивать. Что бы я далъ теперь, чтобы избавиться отъ этой медвѣжьей услуги! — Мѣрнымъ, хладнокровнымъ шагомъ довелъ онъ меня до воротъ моего дома, и я, не поблагодаривъ его за любезность, какъ стрѣла побѣжалъ по двору и по темнымъ лѣстницамъ.

Когда Антокольскій спросилъ меня, какъ я провелъ вечеръ, я отвѣтилъ:

— Прекрасно! А меня провожалъ отъ баронессы, лакей до воротъ! похвастался я.

— Какъ это мило со стороны баронессы, сказалъ мой учитель, — зайду нарочно поблагодарить.

Долго я стыдился рассказывать объ этомъ злополучномъ обѣдѣ!

---

## На дачѣ.

Сестра встрѣтила меня на вокзалѣ. Я пріѣхалъ утомленный и больной. Я только что окончилъ Академію и весь годъ напрягалъ свои силы и взвинтилъ свои нервы. „Ну вотъ, у меня ты поправишься“, сказала сестра, усаживая меня въ телѣжку. „Увидишь, какъ у меня хорошо, какой лѣсъ, какая рѣчка“. Мы поѣхали по проселочной дорогѣ, то поднимаясь, то опускаясь по пригоркамъ. Все кругомъ зеленѣло. Здѣсь весна давно уже наступила. Вчера въ городѣ было грязно, холодно, вѣтрено, а тутъ солнце такъ хорошо грѣетъ, ароматный, бодрящій весенній воздухъ—проникаетъ во все тѣло и точно живительный напитокъ веселитъ и укрѣпляетъ. Мы проѣхали мимо мертваго озера, мимо заснувшей деревни, и послѣ петербургскаго шума что-то новое, тихое, успокаивающее почувствовалъ я.

„Ухъ, какъ тутъ хорошо“, вздохнулъ я такъ глубоко, точно желая изъ глубины души выдохнуть то тяжелое, что какъ копотъ налегло на нее въ продолженіе многихъ лѣтъ кошмарной городской жизни. „Какъ пріѣдемъ, сейчасъ же пойдемъ гулять“, сказалъ я, горя желаніемъ поскорѣе зажить этой новой жизнью.

Телѣжка остановилась. Мы очутились на самомъ краю высокаго берега. Предо мной, внизу, открылся новый міръ. „Тутъ намъ придется пѣшкомъ идти“, ска-

зала сестра, „видишь, тамъ внизу наша дачка“. На самомъ низу, на берегу красивой, сверкающей на солнцѣ, рѣчки, виднѣлся домикъ, точно спрятанный въ кустахъ сирени. По другую сторону рѣки—темный, густой лѣсъ, а за лѣсомъ—зеленныя поля и деревушки. Мѣстность восхитительная. Мы спустились по отлогому берегу черезъ огородъ и попали въ садикъ, цвѣтушій и распространяющій ароматъ сирени. Дачка крошечная: это простая изба, въ которой зимой живетъ крестьянинъ-латышъ. Комнатки низенькія, стѣны покрыты бѣлой известкой, безъ обоевъ, окошки крошечныя, выходятъ въ огородъ, а дальше на рѣку. Все очень просто, уютно, чистенько и мило.

Я былъ въ восторгѣ. Родившись и живя въ городѣ, я только и мечталъ пожить просто, по-деревенски. „Знаешь что?“ сказалъ я сестрѣ, „вѣдь я взялъ заграничный паспортъ, хотѣлъ отдохнуть у тебя недѣльку, а потомъ уѣхать въ Парижъ, но мнѣ такъ тутъ нравится, что я, пожалуй, останусь у тебя все лѣто“.—„И не захочется тебѣ уѣхать“, радостно отвѣтила сестра.

Мы пошли гулять, поднялись на берегъ и гуляли вдоль красиваго берега. „Это паркъ графа Плятера“, указала сестра на чудный садъ, тянущійся по горѣ недалеко отъ берега, тамъ дачникамъ не дозволяется гулять. Недавно цѣлая компанія вошла, и самъ графъ стрѣлялъ въ нихъ изъ ружья, будто хотѣлъ напугать. Дачники подали на него въ судъ, но конечно, изъ этого ничего не выйдетъ: графъ пріятель и съ судьей и со всѣми властями. А вотъ тамъ дальше начинается казенный лѣсъ, тамъ запрещается гулять постороннимъ“.—„А гдѣ-же можно гулять?“ спросилъ я въ недоумѣніи. „А вотъ по другую сторону рѣчки; надо туда лодочкой переправиться“.

Незамѣтно мы подошли къ городку. „Что это?“ сказалъ я въ изумленіи, увидавъ цѣлую улицу разрушен-

ныхъ домовъ. Обгорѣлыя стѣны наводили ужасъ.— „Ахъ, я забыла тебѣ сказать: тутъ недавно былъ страшный пожаръ. Полгорода сгорѣло, и все избы самыхъ бѣдныхъ евреевъ. Ужасная нищета теперь. Къ счастью костель отстояли, а то сказали бы еще, что сами евреи подожгли“. Смотрю—дѣйствительно, одинъ костель стоитъ мрачный, одинокій, точно памятникъ на кладбищѣ. Онъ кажется колоссальнымъ.

„Хочешь, пойдемъ по другой дорогѣ?“ сказала сестра, замѣтивъ мое замѣшательство.— „Нѣтъ, хочу посмотреть“.

На меня страшное впечатлѣніе произвели нищіе, убитые горемъ евреи, бродящіе по обломкамъ и по развалинамъ, точно искали разгадки своего несчастья. Другой части города пожаръ не касался. Тутъ, видно, все живутъ зажиточные люди. „А вотъ тутъ живетъ нашъ хорошій знакомый, богатый еврей Айзикъ А.“, сказала сестра, указавъ на одноэтажный, деревянный домъ, выкрашенный въ желтую краску. Ставни зеленныя съ синими полосками. „У меня къ тебѣ большая просьба“, сказала сестра, „разъ мы очутились здѣсь,—зайдемъ къ Айзику А. Онъ тебя ждетъ - не дожидется. Его сынъ занимается скульптурой. Хотятъ знать твое мнѣніе. Пожалуйста, скажи, что онъ способный. Отецъ простой торговецъ, очень набожный и не хочетъ давать сыну денегъ на ученіе“.

Черезъ обширную, пустую переднюю мы вошли въ свѣтлую, большую комнату. Лохматая еврейка-прислуга попросила насъ ждать. Мы усѣлись на большомъ, старинномъ диванѣ съ высокой деревянной спинкой изъ краснаго дерева. Изъ такого же дерева стоялъ круглый столъ на толстой ножкѣ. Тяжелые стулья были разставлены по стѣнамъ, на которыхъ, я замѣтилъ, висѣли потреты-гравюры Мозеса Монтефіоре и Моисея со скрижалями. Окна высокія; и бѣлыя, толстыя, накрахмаленныя занавѣси аккуратно висѣли на нихъ. Во всемъ

чувствовалась патриархальность и въ то же время какая-то тоска. „Два сына ушли изъ дому, а одна дочь вышла замужъ“, шопотомъ сказала сестра.—Всѣ бѣгутъ отсюда,—подумалъ я. И вспомнилъ я нашъ домъ, какъ мы когда-то жили тѣсно, семейно, а затѣмъ разбѣжались во всѣ стороны.

Вошла высокая еврейка, въ парикъ, со сложенными руками. На ней была накинута цвѣтистая кашемировая шаль. За нею—мужъ ея, сѣдоватый, съ окладистой бородой, въ ермолкѣ, въ длинномъ капотѣ. Послѣ обычныхъ привѣтствій онъ приступилъ къ дѣлу. „Сынъ мой глупостями занимается, бездѣльничаетъ. Ругаю его“.—Въ этомъ духѣ онъ прочелъ цѣлую интродукцію и затѣмъ показалъ мнѣ двѣ работы начинающаго скульптора. „Выйдетъ ли изъ него человѣкъ? Талантливъ ли онъ? Какъ вы скажете, такъ и будетъ. На васъ я цѣликомъ полагаюсь“.—Несмотря на то, что я недавно кончилъ Академію и мнилъ себя художникомъ, но категорическое требованіе отца привело меня въ смущеніе. Я не зналъ, что сказать. Но всѣ ждутъ моего рѣшенія, мнѣ смотрятъ въ глаза и всѣ стараются угадать мои мысли. Конечно, они не могутъ себѣ представить, что я не могъ бы или не желалъ-бы произнести приговоръ, но вспомнивъ наказъ сестры, я набрался храбрости и сказалъ: „Да, талантъ. Слѣдуетъ ему ѣхать въ Парижъ“. Родители просіяли и къ моему удивленію стали рассказывать о сынѣ-скульпторѣ такіа чудеса, что мнѣ совѣстно стало, что прежде я съ довѣріемъ относился къ интродукціи.

„Непремѣнно вы должны у насъ пообѣдать и побывать у насъ“.—„О нѣтъ“, въ испугѣ отвѣтила сестра, точно защищая меня отъ опасности, „братъ пріѣхалъ на нѣсколько дней, и никакъ не успѣетъ къ вамъ зайти“.

На обратномъ пути сестра предложила покататься по рѣкѣ. Вечерѣло, и рѣка покрылась туманомъ. Стало



свѣжо, и я почувствовалъ ознобъ отъ сырости. Когда мы вернулись на дачу, я былъ пораженъ запахомъ сырой глины въ моей комнатѣ. „Это всегда у насъ: когда бываетъ на рѣкѣ туманъ, то у насъ печка сырѣетъ“.

На слѣдующій день я всталъ съ головной болью и болью въ горлѣ. Докторъ нашелъ сильную простуду и велѣлъ нѣсколько дней не выходить. Тоскливо было мнѣ сидѣть въ маленькой, низенькой комнатѣ, и какъ только я почувствовалъ себя лучше, я вышелъ изъ своей комнаты и сталъ зачерчивать берегъ и даль въ своемъ альбомѣ.

„Что вы тутъ дѣлаете?“ спрашиваетъ какой-то военный, заглядывая въ мой альбомъ. Онъ былъ въ поношенномъ, изодранномъ солдатскомъ мундирѣ. — „Рисую“. — „А для чего вы планы снимаете?“ говоритъ онъ съ заискивающимъ польскимъ акцентомъ. — „Для своего удовольствія“, отвѣчаю я, „вѣдь я художникъ“. Думаю поразить его этимъ. „А куда вы потомъ дѣнете эти планы?“ — „То-есть-рисунки“, поправляю я, „оставлю у себя“. — „Вы тутъ недалеко живете?“ продолжаетъ допросъ собесѣдникъ. „А вотъ тутъ внизу, у моей сестры“. И я указываю на дачку на подобіе того, какъ Красная Шапочка показывала волку жилище бабушки. Волкъ-жандармъ удалился.

Когда я рассказалъ о моей встрѣчѣ сестрѣ, она обезпokoилась. „Будь остороженъ, тутъ ищутъ поджигателей“. Я не понималъ, какое отношеніе имѣетъ мое рисованіе съ пожаромъ. Ночью сестра меня будить, и я долго не могу придти въ себя отъ испуга: вся комната была наполнена людьми. Тутъ были жандармскій офицеръ, два полицейскихъ и между ними мой утренній собесѣдникъ. У меня сдѣлали обыскъ, перерыли мой чемоданъ и отобрали альбомы, а также и стеки (инструменты), которые я взялъ для лѣпки. Потребовали паспортъ. „Я такого паспорта никогда не видалъ“. сказалъ жандармскій офицеръ. — „Заграничный“, отвѣ-

тиль я и показаль подпись градоначальника. Мои объясненія занятій моихъ, рисованій, жандармы не поняли, ибо объ Академіи Художествъ никогда не слыхали. Обыскъ на меня страшно подѣйствовалъ, и остальную часть ночи я не могъ спать. Здоровье мое ухудшилось. Утромъ я такъ плохо себя чувствовалъ, что позвалъ опять доктора. Онъ посовѣтоваль поскорѣе уѣхать. Я пошелъ гулять въ лѣсъ, когда я вернулся съ прогулки, то сестра сообщила: „Жандармъ много разъ приходилъ, спрашивалъ тебя. Онъ пошелъ тебя искать. Онъ хотѣлъ ждать тебя здѣсь въ садикѣ, но хозяинъ-латышъ прогналъ его и сказалъ, что если онъ будетъ здѣсь шляться, то онъ его побьетъ. Жандармъ оттого ушелъ“. Меня удивило, что могущество жандарма, который навелъ на меня такой страхъ, не распространяется на простого крестьянина. „Да, здѣсь мужики не боятся ихъ“, сказала сестра, „это мы евреи только такъ робки“.

Каждый день сторожилъ меня жандармъ у садика. Это угнетало меня. Нервы мои совсѣмъ распались. Пожалуй тутъ совсѣмъ пропадешь и не посмотришь на то, что кончилъ я Академію, что получилъ золотую медаль и знакомые у меня. Я ничто, хуже торговца, хуже всѣхъ. —Поскорѣе, поскорѣе уѣхать отсюда,—кричу я и рѣшаю написать въ Петербургъ къ знакомымъ, чтобы за меня хлопотали въ жандармскомъ управленіи, чтобы скорѣй вернули мнѣ здѣсь паспортъ. „Ничего толковаго изъ вашихъ хлопотъ не выйдетъ“, сказалъ мнѣ бѣдный еврей, знакомый моей сестры, часто имѣвшій дѣло съ полиціей, „пока ваши знакомые похлопочутъ, пока придетъ сюда отвѣтъ,—пройдетъ мѣсяць—другой. Дѣло можно устроить просто: завтра можете получить паспортъ—пускай сестра сходить къ еврею А., вѣдь онъ большой пріятель пристава“. — „Правда, правда“, сказала сестра, только неловко, что ты тогда отказался обѣдать. Онъ думаетъ, что ты уже уѣхалъ“.

Въ тотъ же день сестра поговорила со всемогущимъ А., а на слѣдующее утро я самъ пошелъ къ нему.

Былъ веселый, базарный день. Площадь, гдѣ живетъ А., была вся обставлена возами и лотками. Я увидѣлъ въ серединѣ площади моего знакомаго еврея А., который одной рукой обхватилъ пристава, а другой что-то ему объясняетъ. Приставъ — тучный, съ оплывшимъ лицомъ, съ маленькими глазками, внимательно слушаетъ. Увидавъ меня, еврей мигнулъ глазами и головой сдѣлалъ знакъ, чтобъ я слѣдовалъ за нимъ. Я почувствовалъ какое-то особенное почтеніе къ этому еврею: вѣдь отъ него зависитъ теперь мой отъѣздъ, я теперь въ его рукахъ. Хорошо, что сестра привела меня къ нему. Мнѣ смѣшно стало, когда я вспомнилъ, что сынъ его по моему опредѣленію будетъ художникомъ. Пожалуй, онъ когда-нибудь очутится потомъ въ моемъ положеніи и мнѣ спасибо не скажетъ. Долго я слѣдовалъ за приставомъ. „А вотъ художникъ“, обращаясь ко мнѣ, сказалъ еврей, „отдайте ему, пожалуйста, паспортъ“. — „Я его не держу“, сказалъ сердито приставъ, не глядя на меня. „Пойдите въ участокъ: мой помощникъ отдастъ вамъ паспортъ“. Помощникъ, не прося меня сѣсть, долго разглядывалъ мои альбомы и спрашивалъ, для чего я это все дѣлаю. — „А вотъ — развалившаяся изба Хайкеле — охота вамъ такую развалину рисовать. Не нашли получше. И безъ васъ у насъ много хлопотъ“, сказалъ онъ, отдавая мнѣ паспортъ. — Въ тотъ же день я уѣхалъ за границу.

---

## Мои попутчики.

Я бродилъ одинъ по набережной рѣки Амстль въ Амстердамѣ. Былъ чудный юньскій вечеръ. Верхушки домовъ красивой голландской архитектуры были облиты послѣдними лучами красно-багроваго заходящаго солнца. Эта красная полоса рѣзко поражала глазъ, зато нижнія части домовъ, вмѣстѣ съ круглыми деревьями, стоявшими передъ ними, были погружены въ ровный спокойный полумракъ, и, поэтически отражаясь въ рѣкѣ, свѣтились какъ то особенно мягко. Въ воздухѣ чувствовалась пріятная свѣжесть и необыкновенная тишина. Людей не было, и только изрѣдка по набережной между деревьями мелькали небольшія фигуры, которыя быстро исчезали.

Было необыкновенно хорошо, и разныя чувства меня волновали. Я былъ полонъ впечатлѣніями отъ всего того, что видѣлъ въ продолженіи послѣднихъ дней и испытывалъ огромное желаніе ихъ высказать. Но кому? Знакомыхъ у меня не было: я путешествовалъ одинъ, а по-голландски я не зналъ. Я вспомнилъ, что уже три дня, какъ не говорилъ ни съ кѣмъ ни слова. Случалось это такъ: утромъ рано я уходилъ изъ моей гостиницы на весь день; одинъ, молча, осматривалъ я музеи и до поздняго вечера одинъ гулялъ по городу. Отъ долгаго молчанія я почувствовалъ какую-то тяжесть; чего-то мнѣ не доставало.

— Охъ, хоть бы кому-нибудь слово сказать, — произнесъ я очень громко. и мой собственный голосъ пріятно меня поразилъ и пріободрилъ; я прислушался, точно къ эхо, ожидая отвѣта.

Вдругъ, неожиданно я почувствовалъ, что кто-то сзади тянетъ меня за ногу; оглядываюсь и вижу большую черную собаку породы сетерь. Она отъ страха отскочила назадъ и смотрѣла на меня своими большими черными глазами. Страшно исхудалая, съ поджатымъ хвостомъ и вся дрожащая, она какъ будто умоляюще на меня смотрѣла, и я понялъ, что она голодная и безпріютная. — Не бойся, подойди! и ты одинокая, и у тебя никого нѣтъ! Пойдемъ вмѣстѣ! — сказалъ я.

Собака нерѣшительно подошла и поплелась за мною; ей не вѣрилось, что нашелся такой, который ее отъ себя не гонить. — Вотъ и я вдали отъ родныхъ, отъ знакомыхъ, шатаюсь и грущу, жалуясь я. Собака точно слушаетъ меня и не отстаётъ. Я свелъ ее въ булочную и тамъ ее покормилъ; она повеселѣла и, сразу забывъ свое горе и одиночество, весело побѣжала впереди меня.

— Покажи мнѣ городъ, — говорю я, — мнѣ все равно, куда идти; я за тобою пойду.

Черезъ мостъ, мимо рынка, мы попали въ какой-то кварталъ, бѣдный, грязный и темный. — Это, вѣроятно, твой городъ, — говорю я, — здѣсь бѣдняки иногда тебя кормятъ, но когда у нихъ самихъ ничего нѣтъ, то тебѣ приходится по другимъ кварталамъ бѣгать. — Стало темнѣть, и пора мнѣ было вернуться домой; мы направились къ гостинницѣ, и тутъ у воротъ я остановился; собака, почувствовавъ близость разставанья, также остановилась и посмотрѣла на меня своими большими, грустными глазами. — Знаю, что вы уйдете отъ меня и не смѣю думать, что вы всегда будете со мною, — выражали ея глаза. — Прощай — сказалъ я, — спасибо, товарищъ, за компанію. — Когда я вошелъ въ подъѣздъ

гостинницы, то обернулся и посмотрѣлъ, ушла ли собака; она все еще стояла на томъ же мѣстѣ и смотрѣла на дверь. Казалось мнѣ, что у нея былъ такой же видъ, какъ и при первой нашей встрѣчѣ: съ поджатымъ хвостомъ, съежившись, она вся дрожала; видно, она опять почувствовала свое одиночество. Я ее пожалѣлъ...

Черезъ двѣ недѣли я былъ въ швейцарскихъ горахъ; я жилъ высоко надъ Женевскимъ озеромъ у Ронской долины. Эта восхитительная мѣстность называлась Villard sur Aigle. Часто я совершалъ прогулки по горамъ. Памятна мнѣ въ особенности одна чудесная прогулка.

Было прекрасное солнечное утро; горы были освѣщены такъ красиво, что манили къ себѣ: онѣ казались такими близкими, что хотѣлось скорѣе побѣжать къ нимъ.

Я вышелъ изъ гостинницы рано, въ 6 час. утра, намѣреваясь подняться на Шамоссеръ, гору, откуда открывается великолѣпный видъ на горы. На эту прогулку надо потратить цѣлый день.

Я шелъ бодро, весело. Свѣжій, ароматичный горный воздухъ придавалъ мнѣ такую силу, что я долженъ былъ удерживать себя, чтобы не побѣжать и не закричать отъ радости.—Жалко, что нѣтъ попутчика, вдвоемъ все-таки веселѣе!—говорю я громко и въ послѣдній разъ оглядываюсь на деревню, которая при поворотѣ должна скоро исчезнуть изъ глазъ. Вдругъ я увидѣлъ, какъ черезъ большое яркозеленое поле, отдѣляющее меня отъ деревни, бѣжитъ огромной величины песъ — сенъ-бернаръ; его бѣлая шерсть ослѣпительно свѣтится на солнцѣ, онъ дѣлаетъ невѣроятно большіе прыжки и прямо направляется ко мнѣ. — Онъ меня опрокинетъ,—думаю я и, сойдя съ дороги, становлюсь у дерева.

Собака, далеко проскочивъ мимо меня, тихо подошла ко мнѣ. По выраженію глазъ ея я понялъ, что

она очень миролюбиво настроена и что не со злымъ умысломъ она прискакала.—И тебѣ весело?—говорю я, осторожно потрепавъ ее по ея восхитительной львиной гривѣ.—Хочешь, пойдѣмъ на Шамоссеръ? Нѣтъ, не товарищъ ты мнѣ; вѣроятно, скоро ты вернешься домой,—прибавилъ я съ сожалѣніемъ.

Но собака побѣжала радостно впередъ, часто оглядываясь на меня, точно боялась, что я поверну назадъ. Проходитъ часъ-другой; я далеко углубился въ горы, а собака все еще бѣжитъ за мной.

— Какъ тебя зовутъ?—спрашиваю я, убѣдившись въ томъ, что собака теперь отъ меня не отстанетъ.—Я буду звать тебя Самсономъ,—отвѣчаю я за нее.

Солнце уже высоко поднялось, стало жарко, а постоянный крутой подъемъ въ гору очень утомилъ насъ. Собака перестала бѣгать по сторонамъ и плелась за мною, видимо очень страдая отъ жары.—Хочешь, отдохнемъ немного, да кстати пора и позавтракать!

Усѣвшись въ тѣни, я раздобылъ изъ сумки завтракъ и половину отдалъ Самсону. Затѣмъ, снявъ свой сюртукъ, положилъ его на Самсона и самъ улегся на него. Мы оба заснули.

Громкій разговоръ и смѣхъ разбудили меня и, открывъ глаза, я увидѣлъ цѣлую компанію туристовъ, которые съ любопытствомъ смотрѣли, какъ мы спимъ.

— Какъ зовутъ вашего прекраснаго сенъ-бернара?—спрашиваетъ молодая, красивая англичанка, — какое счастье обладать такою собакою,—прибавляетъ она, не сводя своихъ красивыхъ глазъ съ собаки.—Самсономъ зовутъ,—отвѣчаю я беззапѣнчиво: мнѣ показалось, что и я пользуюсь особеннымъ вниманіемъ, благодаря собакѣ.

Черезъ нѣсколько часовъ я и собака достигли нашей цѣли, Шамоссера. Съ трудомъ напрягая послѣднія силы, мы ползли на верхушку горы.—Тамъ непременно сяду,—думалъ я, весь обливаясь потомъ. Самсонъ также еле двигался отъ усталости. Но, когда мы

взобрались на самый верхъ горы, то у меня исчезла усталость: открылся такой необыкновенный видъ на окрестности, что я забылъ о своихъ усталыхъ ногахъ и не думалъ садиться.

Нѣсколько долинъ, красиво освѣщенныхъ солнцемъ, разстиралось внизу. Рѣки, деревни, цѣлые города,— все было видно такъ ясно, какъ на картѣ. Надъ долинами цѣпь синихъ Валлійскихъ горъ, а за нимъ бѣлоснѣжныя Бернскія Альпы. Панорама была величественная, видъ грандіозный.

-- Вѣроятно, Самсонъ отдыхаетъ, — думаю я; но, смотрю, онъ стоитъ вытянувшись, и пристально смотритъ на долину; насмотрѣвшись вдоволь, онъ переходитъ на другую сторону и внимательно всматривается въ другую долину. Почему-то онъ не сводитъ глазъ съ одной точки, и я различаю тамъ дымъ отъ паровоза. Долго мы любовались видомъ, и отдохнувъ, спустились внизъ.

Посвѣжѣло, и идти было очень легко, но усталость ваяла свое, и, чтобы скорѣе вернуться домой, я сталъ искать сокращенныхъ дорожекъ. Незамѣтно я сбился съ дороги. — Куда намъ идти?—спрашиваю я, остановившись.

Самсонъ побѣждалъ на сосѣднюю горку и, осмотрѣвъ положеніе мѣстности, повелъ меня въ другую сторону, противоположную той, по которой я намѣренъ былъ идти.—Такъ ли я иду въ Вилларъ? — спрашиваю я крестьянина, который стоитъ недалеко и косить траву.— Такъ,—отвѣчаетъ онъ,—слѣдуйте за собакой, она васъ выведетъ по самой короткой дорогѣ.

Скоро мы достигли такого мѣста, откуда виденъ былъ Вилларъ.—Посмотри, Самсонъ, Вилларъ!—говорю я радостно,—но какъ еще далеко!—Собака, какъ стрѣла бросилась внизъ и исчезла. Я потомъ увидѣлъ ее въ самомъ низу, подъ горой; видѣлъ, какъ она побѣжала по полямъ и затѣмъ скрылась.



— Невѣжа! не попрощался!—говорю я съ досадой. И мнѣ какъ то за него обидно стало, точно я могъ отъ собаки ожидать чего-нибудь другого. Скоро я совсѣмъ пересталъ думать о собакѣ.

Когда я приблизился къ деревнѣ, то, къ удивленію своему, увидѣлъ бѣжавшаго ко мнѣ на встрѣчу Самсона. Онъ бросился на меня и положилъ свои огромныя лапы на мои плечи,—я свалился.—Погоди, такъ ты меня сомнешь!—кричу я и на силу поднимаюсь.—Вы не ушиблись?—смѣясь, спрашиваетъ какой-то господинъ, который очутился вдругъ возлѣ меня.—О, нѣтъ, вѣдь собака добрая,—отвѣчаю я весело.—Хорошую прогулку вы сдѣлали съ моимъ Леонардомъ?—продолжаетъ спрашивать этотъ же господинъ, снявъ шляпу и вѣжливо кланяясь мнѣ.—Прекрасную,—отвѣчаю я,—но откуда вы знаете, что я съ нимъ гулялъ?—Мой песъ меня уже предупредилъ: онъ давно поджидаетъ васъ, зная, что вы вернетесь по этой дорогѣ; я понялъ, что вы его попутчикъ. Онъ очень вамъ признателенъ за прогулку; страстный туристъ, онъ всегда любитъ подыскивать себѣ компаньоновъ. Иногда онъ пропадаетъ съ туристами на 2—3 дня.

Я позавидовалъ хозяину собаки и грустный вернулся домой.

---

## Гришѹ.

Вы еще не видѣли Гришѹ? Пойдите къ нему, онъ въ концѣ сада.—сказалъ любезный кельнеръ, увидавъ меня, стоявшаго въ дверяхъ гостинницы въ какой-то нерѣшимости. Я дѣйствительно не зналъ, куда мнѣ идти. Я только что пріѣхалъ изъ Парижа и успѣлъ только осмотрѣть свою комнату и столовую, гдѣ я обѣдалъ въ обществѣ ста гостей. Но, что такое Гришѹ? Кто это? Вѣроятно здѣшняя достопримѣчательность, рѣшилъ я и отправился въ садъ. И тутъ обѣдаютъ. Но здѣсь все богатые гости, которые платятъ дороже за то, что сидятъ за отдѣльными столиками и на открытомъ воздухѣ. Въ концѣ сада я увидѣлъ толпу людей, оттуда доносились слова: Гришѹ, Гришѹ! Я протискался сквозь толпу. Да, это вотъ что! Маленькая забавная мартышка. Она на цѣпи привязана къ тумбѣ, на которой она сидитъ. Недалеко отъ нея другая обезьяна, другой породы, некрасивая. Ту называютъ Аннетъ. На нее мало кто обращаетъ вниманіе; всѣ глядятъ на Гришѹ. „Гришѹ, смотри, что я тебѣ принесла“, сказала старая дама, одѣтая вся въ шелкахъ, и показывая обезьянѣ большой персикъ, говорить: „только бери осторожно, вѣжливо“.

Гришѹ въ нетерпѣніи выхватилъ персикъ изъ рукъ ея. „Невѣжа, какъ тебѣ не стыдно“, сказала обиженная старуха и ушла. „Гришѹ, хочешь? Вѣдь, ты это любишь“, говорить красивая, молодая дама, показывая

ей орѣхъ, и обращаясь къ своему кавалеру говорить: „посмотри, какъ Гришѹ сейчасъ разсердится, онъ страшно ревнивъ!“ „Хочешь?“ повторяетъ она и тутъ же отдаетъ орѣхъ Аннетъ. Гришѹ оскалилъ зубы и отъ досады завизжалъ. „Видишь, видишь“, сказала торжествуя дамочка. „Вотъ, какъ онъ сердится, какъ онъ ревнивъ“. „О, онъ ревнивъ, онъ ревнивъ“, подхватили другіе зрители. „Надо ихъ цѣпи соединить, пускай они подерутся“, сказалъ кто-то изъ толпы. „Гришѹ, найди орѣхъ!“ сказалъ высокій худой франтъ, подойдя близко къ Гришѹ и показывая ему свой карманъ. Гришѹ всталъ на заднія лапки, одной передней открылъ карманъ, а другой сталъ шарить въ немъ. Въ карманѣ ничего не оказалось; тогда франтъ, показывая на другой карманъ, гдѣ также ничего не было. Изъ третьяго Гришѹ досталъ орѣхъ. „Молодецъ, Гришѹ“: закричали со всѣхъ сторонъ. „Нашелъ!“ Подошла полная дама, неся въ салфеткѣ орѣхи и персики. „На, Гришѹ, скорѣй бери, мнѣ некогда“ говоритъ она, и подаетъ орѣхи одинъ за другими, такъ что Гришѹ, не успѣвая ихъ съѣсть, наполняетъ ими обѣ щеки. „О, какой Гришѹ, обжора!“... „Фи, сколько онъ набралъ въ ротъ“, заговорили гости, только что вставшіе съ обѣда. „Не подходи близко, милочка“, говоритъ мать своей дочери, которая хочетъ поласкать обезьяну. „У нея много блохъ“. „О. у нея много блохъ, много блохъ“, повторили другіе и стали пятиться назадъ. Скоро вся толпа стала расходиться. Осталась одна старуха, которая усѣвшись недалеко стала раскладывать пасьянсъ. Гришѹ вскочилъ на дерево и сталъ доѣдать запасъ орѣховъ, который былъ у него спрятанъ за щеками. Въ это время осторожно подошла Аннетъ съ опаской оглядываясь на дерево стала подбирать остатки персиковъ, которые падали съ тумбы. Скоро Гришѹ спустился внизъ и очень засуетился. То нагибаясь, то поднимаясь, онъ что то высматривалъ и вдругъ отъ радости запрыгалъ. Онъ увидѣлъ своего

пріятеля кельнера. „Гришѹ, здравствуй мой милый“, говоритъ весело слуга, обнимаясь съ обезьяной. Гришѹ повисъ у него на шеѣ и отъ радости завизжалъ. Кельнеръ сталъ щекотать Гришѹ. Курьезно было видѣть, какъ Гришѹ хохоталъ и ёжился отъ щекотки. Онъ дѣлалъ такія движенія плечами и мускулами лица, что напоминалъ смѣющагося ребенка. „Однако, мнѣ некогда играть, надо посуду убрать“, говоритъ кельнеръ. „Приду потомъ“, и уходя онъ и мнѣ говоритъ: „какой славный, добрый Гришѹ, наши гости его боятся, потому что они его дразнятъ и сердятъ“.

Я остался сидѣть возлѣ Гришѹ. Намѣревался зачертить его въ моемъ альбомѣ, но это съ трудомъ мнѣ удалось, такъ какъ Гришѹ все постоянно вертѣлся и суетился. Я сталъ каждый день посѣщать Гришѹ, но не въ тѣ часы, когда приходили мои сосѣди,—знатные дамы и кавалеры. Скоро я съ Гришѹ подружился. Мы полюбили другъ друга. Когда я приходилъ, то Гришѹ радостно вскакивалъ мнѣ на плечо. Бывало онъ сбрасываетъ мою шапку и начинаетъ искать блохъ въ моихъ волосахъ. Усердно и тщательно онъ разбираетъ каждый волосъ своими ловкими и маленькими пальчиками, при этомъ онъ щелкаетъ зубами, усиленно мигаетъ глазами и морщитъ лобъ какъ будто бы дѣлаетъ важное и нужное одолженіе. Иногда, находя въ моихъ волосахъ пылинку или кожицу, онъ клалъ ихъ въ ротъ и дѣлалъ видъ, что ихъ съѣдаетъ. Отъ головы онъ иногда переходилъ къ лицу, искалъ въ бородѣ и въ усахъ моихъ. Несмотря на неудобства, которыя я испытывалъ отъ стараній Гришѹ, я однако не мѣшалъ ему рыться въ моихъ волосахъ, до того меня трогала дружба и довѣріе ко мнѣ звѣрька, который точно весь былъ преисполненъ желаніемъ доставить мнѣ удовольствіе и принести мнѣ пользу. Когда я бывало отказывался отъ услугъ, то Гришѹ ложился на спину, вытягивалъ заднія лапки, а своей передней тащилъ мою

руку, призывая меня къ работѣ, чтобъ и я въ свою очередь искалъ у него блохъ. И я старался исполнить его желаніе, роясь въ его чистой, пушистой шерсти. Я старался подражать ему; перебѣгая пальцами съ мѣста на мѣсто и для полноты иллюзіи иногда пощелкивалъ зубами, какъ это дѣлалъ мой товарищъ. Мнѣ хотѣлось отплатить добромъ Гришѣ, за его дружеское отношеніе ко мнѣ, и загладить тѣ скверныя впечатлѣнія, которыя вѣроятно онъ получалъ отъ знакомства съ близкой мнѣ людской породой. Дружба Гришѣ мнѣ была дорога еще потому, что живя въ большой гостинницѣ среди большого общества парижанъ и парижанокъ, я однако чувствовалъ себя одинокимъ, днями ни съ кѣмъ не говорилъ и отъ общихъ разговоровъ, которые велись за общимъ обѣденнымъ столомъ, мнѣ бывало еще тяжелѣе на душѣ. — Да, что можетъ быть пріятнѣе того, когда находишь чувство дружбы тамъ, гдѣ не ожидалъ. Въ школахъ я получилъ понятіе о животныхъ какъ о вѣрныхъ и полезныхъ тваряхъ. Передъ самымъ моимъ отъѣздомъ съ Гришѣ случилась непріятность. Прыгая по дереву, онъ навертѣлъ свою цѣпь на вѣтку и не могъ ее освободить. Чѣмъ больше онъ вертѣлся, тѣмъ болѣе онъ запутывался. Собралась публика, которая радостно смотрѣла на отчаяніе Гришѣ. „Непремѣнно повиснетъ на деревѣ“, сказали многіе. Я досталъ палку и попробовалъ снять цѣпь съ вѣтки, но Гришѣ задумалъ самъ воспользоваться палкой, сталъ ею вертѣть цѣпь, и еще больше закручивать себя. Пришелъ кельнеръ и представивъ лѣстницу, къ великому неудовольствію зрителей, освободилъ Гришѣ. Кончился мой пансіонъ. Я уѣхалъ обратно въ Парижъ, совершенно позабывъ о тѣхъ людяхъ, съ которыми восемь дней провелъ въ одномъ домѣ, съ которыми ѣлъ и пилъ за однимъ столомъ, но часто вспоминаю я Гришѣ.

---

## Статуя.

Какой ужасный и страшный случай былъ со мною часъ тому назадъ! До сихъ поръ я нахожусь въ возбужденномъ состояніи: не вѣрится, что это произошло со мною.

Вотъ что было. Я пришелъ въ 10 ч. вечера въ мастерскую посмотри́ть, такъ ли покрыта начатая мною статуя для одного памятника. Убѣдившись, что все въ порядкѣ, я зашелъ за перегородку, гдѣ у меня устроенъ уютный уголокъ; въ особенности тамъ хорошо посидѣть вечеромъ: свѣтъ отъ разноцвѣтнаго японскаго фонаря таинственно освѣщаетъ множество картинъ и статуэтокъ, разставленныхъ по стѣнамъ и по угламъ. Я прилежъ на диванѣ; хотѣлось мнѣ помечтать, но я невольно все думалъ о заказной колоссальной статуѣ, которую я началъ четыре дня тому назадъ. Въ этотъ короткій промежутокъ времени я успѣлъ почти всю фигуру обложить, т.-е. вылѣпить ее въ грубомъ видѣ. Въ эти дни приходилось мнѣ много трудиться, поднять нѣсколько десятковъ пудовъ глины и сдѣлать много верстъ, бѣгая кругомъ статуи и поднимаясь вверхъ, по неудобнымъ лѣстницамъ. Сегодня я въ особенности много сдѣлалъ: вылѣпилъ голову и, кажется, довольно удачно, но почему-то я сдѣлалъ черезчуръ выпуклые глаза, которые смотреть слишкомъ остро. — „Завтра исправлю голову“, думать я, довольный тѣмъ, что работа у меня кипитъ.

Вдругъ слышу я какой то шумъ и движеніе въ другой части мастерской; точно мыши тамъ взятыся. Шумъ увеличивается „Чтобы это значило?“ думаю я, и въ это время кажется мнѣ, что моя перегородка запаталась и черепъ, висящій предо мною надъ входомъ, точно зашевелился. Шумъ переходитъ въ грохотъ... Я вскакиваю съ мѣста, зажигаю свѣчу и вбѣгаю въ большую мастерскую.

Все объясняется, но очень печально: огромная бѣлая простыня, которою прикрыта трехаршинная статуя, сбоку раскрылась и оттуда ползетъ медленно внизъ голова статуи.

„Падаеть!“ произнесъ я громко въ отчаяніи. Я боюсь приблизиться и жду. Голова и часть торса съ трескомъ валятся на полъ; я приближаюсь со свѣчкою и разглядываю упавшее: голова упала на затылокъ, все лицо расплоснулось и приняло такое выраженіе, что мнѣ дѣлается смѣшно и страшно: глаза, еще болѣе выпученные, смотрять сердито, а ротъ и носъ, расширившись, точно смѣются.

Опять происходитъ шумъ подъ простыней; я отскакиваю въ страхъ. Съ другой стороны валится другое плечо и остальная часть торса. Жду конца разрушенія, но голова на полу такъ страшно на меня смотреть, что я тороплюсь ее уничтожить. Одѣваюсь я въ свой рабочій бѣлый халатъ и начинаю убирать глину.

Цѣлый часъ продолжалась у меня уборка мастерской; я ужасно усталъ и разбитый ушелъ опять въ свой тихій уголь отдохнуть. Досадно мнѣ было, что я потерялъ четыре дня и что теперь придется снова все начать, новый каркасъ сдѣлать и снова все обложить глиною.

Голова у меня тяжелѣетъ и я перестаю думать о разбитой статуѣ; думаю я о томъ, что было бы, если бы теперь вошелъ кто-нибудь ко мнѣ. И кажется мнѣ, что въ маленькой передней кто-то стоитъ; всматриваюсь,—это плохо освѣщенный бѣлый бюстъ работы моего друга-

---  
скульптора.— „А что, если оттуда показалась бы теперь смѣющаяся голова большой статуи? думаю я.— Какой вадорь!“ И я рѣшаю поскорѣе встать и уйти. Но мною овладѣваетъ нетерпѣніе и желаніе поскорѣе выбраться изъ мастерской. Со свѣчкою въ рукахъ я иду одѣвать пальто, но мнѣ надо еще потушить фонарь и я боюсь вернуться въ то отдѣленіе, гдѣ я только что лежалъ. „Что дѣлать?“ спрашиваю я себя и открываю наружную выходную дверь, а самъ со свѣчкою въ рукахъ иду тушить фонарь.

Вдругъ точно чьи-то шаги слышны сзади меня; они приближаются...

— Кто тамъ? кричу я не своимъ голосомъ и чувствую, что дрожь пробѣжала у меня по спинѣ и застряла въ головѣ, такъ что голова стала точно свинцовая,—я пересталъ ее чувствовать.

— Я, отвѣчаетъ знакомый мнѣ голосъ, но я продолжаю кричать:

— Стойте! стойте!

— Это я, отвѣчаетъ громче тотъ же знакомый голосъ, и я узнаю моего служителя Трофимова.

— Вижу, дверь открыта, я и вошелъ посмотрѣть, не посторонній ли зашелъ къ вамъ, спокойно говоритъ онъ.

Какъ я обрадовался ему и какъ устыдился своей трусости!

=====



## Наканунѣ.

Случайно узналъ я, что поблизости отъ моихъ знакомыхъ, у которыхъ я лѣтомъ часто бывалъ, находится дача моей бывшей ученицы. „Зайду,—думаю я,—и удивлю ее моимъ визитомъ. Со времени ея замужества я у нея не бывалъ. Съ тѣхъ поръ прошло десять лѣтъ. Дѣйствительно, мой приходъ поразилъ ее.

— Вотъ обрадуется Шурочка, — говоритъ она. — Впрочемъ, вы моихъ дѣтей не знаете. Шурочка—старшій, онъ рисуетъ. Вотъ покажу вамъ его работы. Я постоянно говорю ему о васъ. А вотъ мой номеръ второй и третій,—указала она мнѣ на двухъ милыхъ дѣтей, пяти и трехъ лѣтъ.

Шурочка, мальчикъ лѣтъ восьми, съ большими, красивыми, сѣрыми глазами, принесъ мнѣ огромную тетрадь. Я долго разсматривалъ ее, мать давала объясненія.

— Будь у меня такая любовь къ работѣ, какъ у Шурочки, я бы не такъ скоро бросила искусство,—сказала она.

— А отчего вы не занимаетесь больше искусствомъ?—спросилъ я.

— Семейство поглощаетъ все время. Притомъ занимаюсь шитьемъ, научилась кройкѣ, хочу мастерскую открыть. Пойдемте, я вамъ лучше покажу дачу,—вдругъ прервала она разговоръ.

И она меня водила по всѣмъ комнатамъ. Вездѣ по-

рядокъ образцовый. Мило, уютно и красиво все устроено, видно, что съ большой любовью создавалось это гнѣздо.

— Вѣдь я тутъ и зимой живу. Совершенно отвыкла отъ людей, почти всегда одна съ дѣтьми. Вѣдь мужъ только по праздникамъ пріѣзжаетъ. Да вотъ онъ. Посмотри, какой у насъ гость,—сказала она, обращаясь къ нему.

Я его видалъ, когда онъ былъ еще женихомъ; онъ мнѣ казался тогда очень несимпатичнымъ, но недурненькимъ собой. Теперь онъ посѣдѣлъ, обрюзгъ и очень осунулся.

Начались общіе разговоры о городскихъ новостяхъ. Онъ сообщилъ, что видѣлъ и слышалъ въ городѣ, откуда только-что пріѣхалъ. Дѣти обрадовались ему. Младшій сынъ полѣзъ къ нему на спину, старшій сталъ показывать новые рисунки.

— Надо Ильѣ Яковлевичу показать нашъ садъ,—сказала хозяйка дома. — Ты иди съ нимъ, а я пока остригу волосы у Вѣрочки: ужъ очень она лохматая.

И въ саду примѣрный порядокъ, тутъ, видно, любящая рука все устроила, обо всемъ позаботилась.

— Какъ тутъ у васъ хорошо!—сказалъ я.—Какъ все уютно и мило устроено. Такъ жить, вдали отъ города, вдали отъ шума, я вполне понимаю.

— А вы такъ и не женились?—неожиданно задала она мнѣ вопросъ.

— Нѣтъ,—отвѣтилъ я точно виноватымъ голосомъ.— Все смотрю, какъ другіе устраиваются. Вотъ, напримеръ, какъ вы живете—просто завидно. Но не всѣ созданы для семейной жизни, хотя, признаться, я часто скучаю въ одиночествѣ. А мой лучшій другъ часто мнѣ говоритъ, что я, какъ семерка, вѣроятно, склоненъ къ семейной жизни. Но я думаю, что не всѣмъ такъ счастливо живетъ, какъ вамъ!

— Вы думаете?—сказала она грустнымъ голосомъ и опустила голову.

— А вот послушай,—сказала она мужу, когда мы вернулись.—И. Я. въ восторгѣ отъ нашей дачи.

— Что жъ, ' милости просимъ, почаще къ намъ ирѣзжайте, — отвѣтилъ сухо хозяинъ, не глядя на меня.—Комната всегда свободна, къ вашимъ услугамъ.

Сѣли обѣдать. И во время обѣда царствуетъ семейная благодать: дѣтки во всемъ слушаются матери, отецъ очень внимателенъ и предупредителенъ по отношенію къ женѣ.

— Просто не хочется отъ васъ уходить,—сказалъ я, сидя на балконѣ и глядя на дѣтокъ, которыя рѣзались въ саду, освѣщенныя послѣдними лучами заходящаго солнца.

Мужъ моей ученицы проводилъ меня на вокзалъ.

— Вотъ ѣду въ городъ.—сказалъ я на прощанье провожатому.—Тамъ шумно, душно, скверно, а у васъ тутъ такъ хорошо, мило, казалось бы никогда не уѣхалъ отсюда!

Въ вагонѣ мнѣ вспомнилось то время, когда я бывалъ у моей ученицы, бывшей тогда еще дѣвушкой. Какая она была веселая, живая! Она мнѣ очень нравилась. Я не смѣлъ за ней ухаживать, потому что она была слишкомъ молода. Затѣмъ уроки наши прекратились, и она стала самостоятельно работать. И вотъ разъ получаю отъ матери ея письмо, чтобы непременно притти къ обѣду. На обѣдѣ было много гостей. Меня представляли, какъ профессора дочери. Послѣ обѣда мать позвала меня въ сторону и сказала: „У меня къ вамъ просьба. Ваша ученица вытѣпила бюстъ съ того господина, который сидѣлъ возлѣ васъ. Отъ васъ я не скрою семейную тайну: они, кажется, нравятся другъ другу. Пожалуйста, посмотрите бюстъ, поправьте его. Устройте такъ, чтобы это удалось. Этимъ, можетъ быть, устройте ея счастье!“ Мнѣ не понравилась моя роль — профессора-пособника. Хотя я сдѣлалъ все возможное, чтобы бюстъ удался, но почему-то нѣкоторое время я

пересталъ бывать у нихъ. Скоро я узналъ, что моя ученица вышла замужъ за того господина, котораго она вылъпила.

— Такъ вотъ,—подумалъ я, подѣвжая къ городу,—можетъ быть, я и способствовалъ тому счастью, котораго я сегодня былъ свидѣтелемъ, и если въ семейномъ отношеніи не сумѣлъ устроить себя, то, по крайней мѣрѣ, услужилъ другимъ.

Грустно и тоскливо было мнѣ вернуться въ неуютную, одинокую комнату. Черезъ недѣлю знакомые, къ которымъ я пріѣхалъ на дачу, мнѣ сообщили:

— А вотъ знакомая ваша, которая недалеко отъ насъ живетъ, на-дняхъ разошлась съ мужемъ.

— Не можетъ быть!—говорю я, и скрываю то, что я у нихъ былъ.—Оказывается, что ужъ цѣлый годъ у нихъ неладны семейныя отношенія, а на-дняхъ онъ окончательно бросилъ ее и дѣтей и, какъ говорятъ, переѣхалъ къ другой. Бѣдная ваша ученица совсѣмъ, говорятъ, заболѣла.

— Когда же это случилось, въ какой день?—спрашиваю я.

— Да вотъ на слѣдующій день послѣ того, какъ вы были у насъ. Вѣдь вы сами, кажется, собирались къ нимъ?

— Такъ это было наканунѣ?—вскрикнулъ я, и о моемъ посѣщеніи не рассказалъ.

---

## „Случай“.

Это было въ концѣ іюля. Я возвращался изъ Киссингена. Тамъ я продѣлалъ очень строгій курсъ лѣченія, послѣ котораго во мнѣ прибавилось вѣсомъ пять нѣмецкихъ фунтовъ. Я очень дорожилъ этой прибавкой, все думалъ, какъ бы доѣхать до Петербурга въ такомъ видѣ, ничего не потерявъ. Вотъ удивятся друзья пріятели! Пожалуй не узнаютъ меня.

Рѣшилъ я принимать всѣ мѣры, чтобы дорогой не испортить своего здоровья: взялъ съ собой бутылку молока, поѣхалъ скорымъ поѣздомъ и на станціяхъ при долгой остановкѣ поѣзда гулялъ для моціона. До Берлина благополучно доѣхалъ, а тамъ, запасшись опять молокомъ, сѣлъ въ курьерскій поѣздъ, который выходитъ изъ Фридрихштрассе въ девять часовъ утра. Это самый удобный поѣздъ: вечеромъ я на границѣ и въ дорогѣ провожу всего одну ночь.

Многимъ извѣстенъ необыкновенный шумъ и суматоха на вокзалѣ въ Фридрихштрассе. Поѣзда ежеминутно влетаютъ въ огромный стеклянный сарай; ихъ точно кто-то вталкиваетъ и какъ мячъ оттуда выбрасываетъ. Здѣсь они останавливаются на минуту. Пуфъ, пфъ, пфъ, пфъ, пфъ, пфъ,—не могутъ они отдышаться и сейчасъ же летятъ дальше. Влетѣлъ и мой поѣздъ. Вмѣстѣ съ толпой я врываюсь въ узкій коридоръ поѣзда-„гармоника“ и приступомъ беру мѣсто у окна, раскладываю свои вещи, обтираю обильный потъ, катив-

пійся со лба, и поправляю бока, помятые отъ ушибовъ чемоданами и зонтиками, попадавшимися мнѣ на дорогѣ. Слѣдовало бы сѣсть и успокоиться. Но у меня еще забота: какъ бы устроить такъ, чтобы купѣ не переполнилось, чтобы не душно было и чтобы можно было протянуть ноги на сосѣднее мѣсто. Сосѣдъ, очень высокій, плотный пѣмецъ, озабоченъ тѣмъ же. Онъ разложилъ свои вещи на другое мѣсто, а самъ всталъ у дверей и всякому носильщику, заглядывающему въ купѣ, говоритъ: „все занято“. Я сзади, для иллюстраціи сказаннаго, принимаю позу солидную, чтобы меня замѣтили.

Все шло удачно; всѣ мимо насъ, и послѣдній носильщикъ хочетъ пройти. Но женскій голосъ въ коридорѣ кричитъ: „Чего еще дальше носить, клади въ это купѣ“. Посыпались картонки, ящики, зонтики; наконецъ, появилась сама ихъ владѣтельница. Смотрю—знакомая. — „Илья Яковлевичъ! вотъ пріятно! Мы вмѣстѣ! Я возлѣ васъ сяду; будетъ веселѣе. А теперь будьте кавалеромъ, помогите раскладывать вещи“.

Это была очень почтенная, добрая старушка Л., вдова профессора. Въ Петербургѣ я часто ее встрѣчалъ у моихъ хорошихъ знакомыхъ. Тамъ она любила говорить со мной объ Италіи, гдѣ она была со своимъ мужемъ лѣтъ 50—60 тому назадъ. Ея восторгамъ и восхищеніямъ не было конца. Бывало, начинаетъ меня забрасывать своими вопросами: видѣлъ ли я Пинче при закатѣ солнца? А „Моисей“ Микель Анджело? А „Страшный Судъ“? И не дожидаясь моего отвѣта, она со вздохомъ рассказываетъ, съ какимъ восхищеніемъ она все это смотрѣла и при какихъ обстоятельствахъ видѣла. Вспоминая прошлое, она приходила въ такое умиленіе, что точно страдала, и я, слушая ее, чувствовалъ какую-то жалость и къ ней, и къ Италіи, и къ себѣ.

„Такъ вотъ, теперь мнѣ предстоятъ эти рассказы“, подумалъ я съ ужасомъ. И дѣйствительно, послѣ корот-

кихъ разспросовъ о томъ, кто гдѣ былъ, началось настоящее: объ Италіи. „Боже мой, подумалъ я, лишень я удобствъ, сижу въ тѣснотѣ, не могу протянуть ноги какъ хотѣлъ. Ну, здоровье пускай пострадаетъ, пускай лишусь моихъ пяти фунтовъ,— но какъ избавиться отъ этихъ рассказовъ? Вѣдь адѣсь въ вагонѣ отъ нихъ некуда уйти и нѣтъ той любезной хозяйки, которая, бывало, приходитъ ко мнѣ на избавленіе. Не подѣ поѣздъ же броситься!“

Но точно Богъ услышалъ мою мольбу: поѣздъ останавливается.

— Ахъ, станція Крейцъ! кричу я, обрадовавшись.— Тутъ поѣздъ пять минутъ стоитъ, сойду и пройдуся. Но могъ ли я предположить, что эта радость превратится въ печаль, что мое желаніе избавиться отъ сосѣдки подвергнетъ меня ужасному горю, въ миллионъ разъ худшему, чѣмъ рассказы объ Италіи. А это случилось, и вотъ какъ.

На станціи, по другую сторону, стоялъ другой поѣздъ, отправляющійся въ Познань. Тамъ публика тѣснилась и суежилась. Хотѣлось мнѣ посмотреть, но не успѣлъ я сдѣлать и нѣсколько шаговъ, какъ слышу свистъ. Оборачиваюсь и вижу—мой поѣздъ трогается. Я вскакиваю въ ближайшій вагонъ. Но меня охватываетъ сомнѣніе, мой ли это поѣздъ. Онъ долженъ былъ стоять пять минутъ, а не прошло еще и минуты. Я кричу нѣмцу, выглядывающему въ окно: — „Этотъ поѣздъ идетъ въ Эйдукуненъ?“ Но нѣмецъ, не понявъ меня, кричитъ: — „Нѣтъ, нѣтъ, онъ идетъ изъ Берлина!“ Въ сущности это то, что мнѣ нужно было, но отъ испуга я разслышалъ только: „нѣтъ, нѣтъ!“ и на полномъ ходу соскакиваю съ поѣзда.

Къ счастью, цѣлымъ и невредимымъ я очутился въ концѣ платформы. Поѣздъ мой, конечно, ужъ далеко усекалъ. Вижу, что ко мнѣ бѣжитъ, сильно болтая руками, начальникъ станціи въ своей красной фураж-

кѣ, съ красными отворотами небрежно застегнутаго сюртука; за нимъ помощникъ, а за помощникомъ еще помощникъ. Начальникъ, высокій, худой, съ ногами, какъ у аиста; лицо его, вся его фигура выражали злость. Точно хищная птица, онъ бросается на меня, какъ на добычу. „Вы арестованы!“ кричитъ онъ и затѣмъ, по военному, отступая нѣсколько шаговъ назадъ, онъ пустилъ меня нѣсколько шаговъ впередъ и повелъ меня, точно шпиона или вора, по широкой платформѣ. „Слава Богу, никого тутъ нѣтъ, думаю я;—а то срамъ какой!“ Но смотрю: въ сторонѣ, за желѣзной рѣшеткой, точно бараны загнанные, стоитъ публика и таращитъ глаза. Это было воскресенье. Барышни были въ бѣломъ, а солдатики курили нескончаемыя сигарки. Для усугубленія моего позора начальникъ станціи, сравнившись съ публикой, спрашиваетъ: „Куда вы ѣдете?“ „Въ Россію“, отвѣчаю я виноватымъ голосомъ. „Да, но мы въ Германіи, у насъ такихъ вещей не дѣлаютъ. Вы заплатите штрафъ“. Въ публикѣ послышался гулъ: „о-о!.. Меня ввели въ телеграфную комнату. Напрасно я спрашиваю начальника, когда придетъ поѣздъ, какъ мнѣ быть съ вещами,—онъ на меня не обращаетъ вниманія и громко диктуетъ телеграфисту: „Heutiger Fall, сегодняшний случай:—выскочилъ пассажиръ, поѣздъ ѣдетъ благополучно; сколько платитъ штрафу пассажиру?“

Но сотворивъ это, начальникъ точно преобразился; служба у него кончилась: предлагаетъ мнѣ мѣсто, подсаживается ко мнѣ и добродушно спрашиваетъ: „Однако, почему вы выскочили изъ вагона?“ Я рассказываю; притомъ жалуясь на то, что поѣздъ вмѣсто пяти стоялъ одну минуту.

„Да вы, вѣроятно, смотрѣли расписаніе прошлаго мѣсяца; тогда поѣздъ стоялъ пять минутъ, а теперь перемѣна. Это всѣмъ извѣстно. Насчетъ вещей, сказалъ онъ,—не беспокойтесь; будетъ все цѣло“. И по его со-



вѣту я послалъ телеграмму: „Frau Professor L., прошу оставить мои вещи въ Шнейдемюль“.

Поѣзда скорого въ этотъ день не было. Или надо было ждать до слѣдующаго дня, или взять пассажирскій поѣздъ вечеромъ. Оставаться здѣсь было невозможно: городъ и гостиница за три версты отъ станціи; потомъ пошелъ сильный дождь, свѣжо стало, а я налегкѣ, въ туфелькахъ, безъ пальто, въ дорожной шапочкѣ. „Посидите въ буфетѣ“, совѣтуетъ мнѣ уже размягченный начальникъ. Въ буфетѣ сидитъ цѣлая компанія за пивомъ и буфетчикъ имъ что-то смѣшное рассказываетъ. Я слышу слова: ein Russe, ein Russe; догадываюсь что это обо мнѣ, но меня уже замѣтили. Разговоръ умолкаетъ и на меня пристально смотрятъ. Выхожу на платформу; тамъ ужъ никого нѣтъ. И куда вся публика дѣвалась? Точно въ воду канула. Вѣдь поблизости ни одного дома нѣтъ. Передъ вокзаломъ огромныя поля, и видна только дорога, окаймленная тополями, тянущаяся на много верстъ. Единственный человекъ—старушка: она дремлетъ у своего ларка съ путеводителями и газетами. „Не купить ли мнѣ нѣмецкую книжку и почитать?“ думаю я. Подхожу и разглядываю книжки. Старушка, угадавъ мое благое намѣреніе, чтобы сдѣлать мнѣ любезность, говоритъ: „А слышали ли вы, господинъ, о сегодняшнемъ случаѣ?“—„Какое?“ спрашиваю я. „Какъ же, пассажиръ выскочилъ изъ вагона. Я сама видѣла собственными глазами“.

Кое-какъ дотянулъ я до вечера. Опять публика точно изъ земли выросла и заполнила мѣсто за рѣшеткой. Начальникъ станціи подходитъ ко мнѣ, какъ къ старому знакомому. Онъ похлопалъ меня по плечу и сказалъ: „Ну, мой добрый господинъ, теперь вы можете ѣхать. Я получилъ отвѣтъ: вамъ надо заплатить только двѣнадцать марокъ“. — Поѣхалъ я безъ подушки, безъ пальто и безъ тѣхъ удобствъ, о которыхъ мечталъ. „Да, подумалъ я, вотъ счастье, что зна-

комыхъ встрѣтили въ вагонѣ. Хорошая старушка, вѣроятно, мои вещи сохранить“.

Въ Шнейдемуль меня будить кондукторъ: „Это вы послали телеграмму о вещахъ? Frau Proiessor велѣла сказать, что везетъ ихъ дальше“. Такой же привѣтъ я получилъ въ Диршау. Думалъ я, что, вѣроятно, старушка взяла мои вещи съ собой въ Россію. Но въ Эйткуненѣ вижу, что начальникъ станціи подходитъ ко всякому вагону нашего поѣзда, заглядываетъ въ окно и о чемъ-то спрашиваетъ; за нимъ носильщикъ, и смотрю—съ моими вещами. Вещи я получилъ въ совершенной цѣлости; даже старыя газеты и бумажки валявшіяся на полу, были пристегнуты къ чемодану.

Въ Петербургѣ я пошелъ къ моей благодѣтельница старухѣ, поблагодарилъ за любезность и разсказалъ ей о моихъ страданіяхъ въ Крейцѣ. На этотъ разъ я самъ заговорилъ объ Италіи, но хорошая старушка почему-то молчала.

---

## Комната № 9.

Дорогой пріятель, вотъ откуда пишу. Застрѣлъ я въ дорогѣ. Но не пугайтесь; поѣздъ не сошелъ съ рельсовъ, меня не арестовали и денегъ не украли. Со мной случилось нѣчто глупое и нелѣпое, что можетъ случиться со всякимъ. Расскажу подробно и сначала.

Я въ такомъ состояніи теперь, что хочется много говорить и потому не сердитесь если вдамся въ подробности.—Помните, вчера, когда поѣздъ тронулся, Вы закричали: „напишите завтра изъ Берлина!“ Я вамъ отвѣтилъ, крикнувъ, что непременно напишу. Но Вы вѣроятно не разслышали; пронзительный свистъ паровоза не далъ мнѣ закончить моего обѣщанія. Что-то зловѣщее, коварное было въ свистѣ паровоза. Попадешь ли еще въ Берлинъ?—тогда былъ смыслъ свистка.

Поѣздъ прибылъ на границу (въ Вержболовъ) въ шесть часовъ утра. Тутъ онъ стоитъ сорокъ минутъ. Я успѣлъ умыться, чаю выпить и сталъ гулять по дебаркадеру. Было чудное весеннее свѣтлое утро. Рѣзкій, свѣжій воздухъ бодрилъ и укрѣплялъ, послѣ плохо проведенной ночи въ душномъ вагонѣ. Онъ дѣйствовалъ какъ освѣжающая ванна. Я чувствовалъ себя прекрасно. По другую сторону рельсовъ тянулся рядъ убогихъ деревянныхъ домиковъ; они отдѣлялись отъ полотна желѣзной дороги, черной какъ смола, полосой. Это была рыхлая, глубокая грязь. Выдѣлялся своей бѣлизной

одноэтажный, каменный домикъ. Солнце какъ разъ ударило въ него. Фасадъ его состоялъ изъ четырехъ колоннъ; „квадрастилось“,—подумалъ я. Свѣжи еще у меня въ памяти греческіе ордера, вѣдь недавно только я кончилъ Академію. Непроходимая грязь, полуразвалившіяся, деревянныя хаты—и греческія колонны, все это совмѣщается у насъ на Руси. Какая-то вывѣска на домѣ—несчастныя подумалъ я, живутъ же люди здѣсь, на самой границѣ—и я ихъ пожалѣлъ, а себя почувствовалъ счастливымъ, гордымъ и свободнымъ.

Раздался послѣдній звонокъ. „Поторопитесь въ вагонъ!“, кричитъ кондукторъ, „поѣздъ скоро тронется!“—Въ вагонѣ жандармъ раздаетъ паспорта. „Вы Гинцбургъ?“; говоритъ онъ, „вы остаетесь здѣсь“.—„Почему, какъ?“ говорю я съ изумленіемъ.—„Паспортъ не визированъ“, отвѣчаетъ онъ равнодушно и поворачивается ко мнѣ спиной. Пробовалъ я протестовать, но упорное молчаніе жандарма убѣдило меня въ безповоротности его рѣшенія. „Какое счастье“, сказалъ весь просіявшій мой сосѣдъ, глядя на меня, растеряннаго и удрученнаго, „вѣдь я тоже забылъ было визировать“. На самомъ вокзалѣ мнѣ случайно напомнили. А вѣдь когда выдавали паспортъ, не предупредили что надъ визировать.—„И что это за новая нелѣпость—визировать паспортъ“. Говоритъ какой-то больной пассажиръ, „одни недоразумѣнія только и лишняя трата денегъ“.—Я собралъ свои вещи и сошелъ съ поѣзда, въ то время, когда онъ уже началъ трогаться.—„Паспортъ не визированъ“, говоритъ равнодушно оберъ-кондукторъ, помогавшій мнѣ слѣзать; „это часто случается, каждый день остаются“.—„Что же со мной будетъ теперь?“—„Ничего. Вашъ паспортъ отправятъ въ Ковно, къ консулу,—завтра же его получите обратно, этимъ поѣздомъ поѣдете дальше. Вамъ придется заплатить три рубля за то, что возили паспортъ туда и обратно“.—„Какая несуразность!“, горячусь я, „вѣдь ковенскій консулъ меня не знаетъ“.

Къ чему вся эта комедія?“ Кондукторъ удивленно на меня посмотрѣлъ. Въ его взглядѣ былъ какой-то упрекъ, почему я ищу смысла въ приказаніяхъ и распоряженіяхъ начальства. Онъ всю свою жизнь только исполнялъ ихъ и не задумывался.

Кто-то тянетъ чемоданчикъ изъ моихъ рукъ. „Что тебѣ нужно?“ кричу я на мальчика, который уже держитъ всѣ мои остальные вещи.—„Пожалуйте въ гостиницу, хорошій номеръ“.—„Какая такая гостиница?“—съ недовѣріемъ оглядываю его. „Ты отъ Шлемы?“ говоритъ кондукторъ. „Можете къ нему заѣхать“, обращается онъ ко мнѣ, „это хорошіе номера“.—Я послѣдовалъ за мальчикомъ. „Далеко?“ спрашиваю я.—„Да вотъ, противъ“. И онъ указалъ на бѣлый домъ съ колоннами.

Какъ козы мы прыгали черезъ грязь, дѣлая обходы и зигзаги, такъ какъ кромѣ грязи оказались и лужи въ видѣ озеръ, которыя издалека не были замѣтны. Первая комната гостиницы представляла собой буфетъ. Ожидалъ насъ хозяинъ еврей. Онъ кивнулъ мнѣ головой, а мальчику сказалъ: „Въ № 9“. По длинному, темному коридору водилъ меня мальчикъ до самаго конца. „Если комната будетъ нечистая и не опрятная, то я не останусь у васъ“, говорю я на всякій случай, но мальчикъ уже стукнулъ ногой дверь и пропустилъ меня въ красивую, чистенькую, свѣтлую комнату. Мнѣ ударилъ въ носъ запахъ тонкихъ духовъ. Комната въ полномъ безпорядкѣ, и точно только что тутъ были. На полу лежатъ шелковыя юбки и крошечныя, кокетливыя дамскія туфли. Несмотря на безпорядокъ, въ комнатѣ видна удивительная чистота и вкусъ обитателя. Въ особенности красивъ туалетъ: хорошее зеркало задрапировано красиво бѣлой кисеей. Флакончики, лпкатулки—все разставлено очень мило. „Вѣдь тутъ живутъ! Какая-то дама. Что же вы мнѣ чужую комнату даете?“ спросилъ я. „Не беспокойтесь“, отвѣчаетъ маль-

чикъ, „барышня уѣхала только-что. Она завтра вечеромъ вернется, а вамъ вѣдь надо только переночевать“. „Какъ же вы отдаете чужую комнату? Дайте другую! Позовите хозяина!“ И мальчикъ побѣждалъ за хозяиномъ.

„Вамъ надо почевать тутъ“, говоритъ довольно строго хозяинъ, „ну и ночуйте! Кромѣ васъ никого тутъ нѣтъ въ комнатѣ“. — „Дайте мнѣ другую комнату“, говорю я, считая лишнимъ говорить съ нимъ объ этической сторонѣ нашего вопроса. — „Всѣ заняты“. — „Ну такъ я уйду въ другую гостиницу“, говорю я. — „Нѣтъ другой гостиницы, моя единственная“, важно отвѣчаетъ, замигавъ глазами, самодовольный шинкаръ. — „Какое вамъ дѣло кто тутъ живетъ? Комнату уберемъ“. — „Ну такъ уберите поскорѣ!“ отвѣчаю я, рѣшивши, что никакого другого выхода нѣтъ. „Лакей ушелъ, скоро придетъ“, говоритъ хозяинъ, уходя.

А я рѣшилъ, пока не уберутъ комнату, не развязывать свои вещи. Запахъ духовъ меня раздражаетъ. Я открываю форточку. Струя свѣжаго весенняго воздуха врывается и обжигаетъ мнѣ лицо. Смѣшавшись съ духами, онъ опьяняющимъ образомъ дѣйствуетъ на меня. Я разглядываю столъ. Много книгъ. А вотъ и портретъ; вѣроятно она сама. Какая молоденькая, какая красивая! Прямой, тонкій носикъ, огромныя рѣсницы. Сѣрые глаза смотрятъ такъ задумчиво и мягко; какіе чудные волосы! Нѣтъ, да она просто красавица! Не могу оторваться отъ портрета. Теперь уже и всѣ вещи въ комнатѣ кажутся мнѣ иными: вотъ кофточка ея; въ этой кофточкѣ она и снята. Я весь наполняюсь любопытствомъ: кто она такая? И я внимательно осматриваю комнату. Мнѣ все нравится: и въ то же время какое-то чувство стыдливости мною одолеваетъ. Вѣдь это чужая жизнь, секреты; еслибъ она знала, что со всѣмъ посторонній въ ея комнатѣ, можетъ быть, она пришла бы въ ужасъ. И я стараюсь не смотреть больше, опускаю глаза на полъ. Красивая бумажка лежитъ.

Поднимаю. Бросаются мнѣ въ глаза слова: „ѣду, ѣду!“ Я не вытерпѣлъ и рѣшился на преступленіе: читаю. „Какое счастье! Черезъ нѣсколько часовъ увижусь съ тобой! Милый мой, дорогой!“—Она влюблена!—дѣлаю я новое открытіе. И опять иду смотрѣть портретъ. Она мнѣ кажется еще болѣе обворожительной. Нѣтъ, это невозможно,—думаю я, чувствуя, что мое любопытство достигаетъ такихъ размѣровъ, что дѣлаюсь способнымъ на нехорошее. И я зову слугу. „Уберите комнату; я не могу оставаться тутъ“.

Какъ вамъ не совѣстно надувать? Я думаю, если бы жилища знала, что вы впустили гостя, то не поблагодарила бы васъ.—„Откуда она узнаетъ-то, что тутъ жили—никто ей не скажетъ“,—возражаетъ слуга.—А что этотъ портретъ—ея?“—„Да“, это барышня“.—„Кто она?“ спрашиваю я, все продолжая свое слѣдствіе.—„Актриса. Въ Кибартахъ играетъ. Вчера она получила телеграмму изъ Ковны, и вотъ уѣхала на день туда. Завтра же вечеромъ вернется.—Я боялся больше разспрашивать объ ней; боялся, чтобы онъ не сказалъ чего-нибудь нехорошаго и непріятнаго. Портретъ ея меня очаровалъ, и неизвѣстное было мнѣ пріятно.—„А вотъ, баринъ, вы бы съѣздили въ Кибарты, какъ разъ фура (бричка) съ пассажирами отправляется изъ нашей гостиницы. Сегодня тамъ ярмарка“.— Поѣду.— подумалъ я,— не столько ради удовольствія видѣть Кибарты, сколько ради того, чтобы уйти отъ того любопытства, которое охватило меня въ этой комнатѣ.

Въ кибиткѣ, въ которую я сѣлъ, сидѣло уже нѣсколько евреевъ и евреекъ. Я сѣлъ воалѣ балаголе (ямщикъ), отъ котораго страшно разило махоркой. Но мнѣ не хотѣлось сидѣть въ компаніи, которая страшно много болтала и ссорилась.

Дорога тянется нѣсколько верстъ по открытому мѣсту, окаймленная съ обѣихъ сторонъ тополями. Солнце уже взошло, сдѣлалось тепло, но все еще чувствовался

ароматъ весенняго воздуха. Красавица и ея комната, точно кошмаромъ давили меня. Я радъ былъ, что убѣгаю отъ этого, но чувствовалъ какое-то смутное желаніе—видѣть Кибарты, гдѣ она часто бываетъ и играетъ.

Городъ, въ который мы вѣхали, крошечный, но, вѣроятно, имѣетъ теперь необычный видъ. По случаю ярмарки много обозовъ съ торговцами, много пріѣзжихъ изъ окрестныхъ деревень. Чтобы разсѣяться, я смѣшался съ толпой и сталъ разсматривать валявшіеся на землѣ товары. Тутъ были и селедки, крендели и всякая дрянь.

Почти до вечера я болтался въ этой сутолокѣ, просто ради того, чтобы время убить. Однако, усталость взяла свое. Я порѣшилъ вернуться домой. Въ комнатѣ было уже убрано. Я пробовалъ приниматься читать, но въ голову не лѣзетъ чтеніе. Временами смотрю я на портретъ, и страшная мысль вдругъ пришла мнѣ въ голову: А что, если остаться завтра? Да, но комнаты нѣтъ. Притомъ, мое сознаніе, что я осматривалъ ея комнату, можетъ ее обидѣть, разозлить. Нѣтъ, надо бросить всѣ эти реальныя мечты.—И я сталъ фантазировать, какъ гдѣ-то ее встрѣчаю.—Нѣтъ, лучше ее не видѣть,—думаю я,—вѣдь она влюблена... Есть же счастливыя въ мірѣ! Какая-то тоска овладѣла мною.

Я ложусь спать. Силюсь заснуть и чувствую, что что-то мнѣ надо дѣлать. Я вскакиваю съ постели, зажигаю свѣчки и знаете, что я дѣлаю?—Вѣроятно, я былъ не совсѣмъ въ нормальномъ состояніи.—Я ей пишу! Вотъ что, приблизительно я написалъ: „Прекрасная незнакомка! Вашъ хозяинъ гостиницы — плутъ и мошенникъ; онъ васъ обманываетъ: въ вашемъ отсутствіи выпускаетъ въ вашу комнату жильца. Я сопротивлялся“... Дальше я рассказываю, какъ я попалъ сюда.—„Я видѣлъ вашъ портретъ. Какая вы красавица! Какъ симпатично у васъ устроена комната! Я весь день находился подъ впечатлѣніемъ всего того, что видѣлъ у васъ. Но мнѣ надо просить у васъ прощенія; я совершилъ нѣчто



ужасное: я прочелъ бумажку, которая валялась на полу. Я понялъ, что вы уѣзжаете къ человѣку, котораго вы любите. Какая вы счастливая! Ёхавъ сюда, я думалъ, что я счастливѣйшій въ мірѣ: я полонъ счастья изъ-за свободы, что я ѣду за границу; мнѣ жалко казалось все, что живетъ здѣсь; я гордился, но сознаюсь, что любовь лучше всего. Не знаю, почему мнѣ стало грустно, но я хочу принести вамъ благодарность. Никогда я васъ, ни вы меня не увидите, но вы мнѣ такъ нравитесь, что всегда буду вспоминать вашъ портретъ и вашу комнату. Не поѣзжай я въ Парижъ, я бы мечталъ о томъ; чтобы жить у этого болота, лишь только для того, чтобы видѣть васъ.—Всего хорошаго!“

Не смѣйтесь, я конечно не влюбленъ, но я точно за-  
гипнотизированъ въ этой комнатѣ. Мнѣ пришло въ голо-  
ву, къ какому чорту я ѣду въ Парижъ, для чего мнѣ моя  
свобода—не эгоизмъ-ли это—все видѣть и чувствовать  
свободу, ради удовольствій.—Любовь выше всѣхъ лич-  
ныхъ удовольствій.—То, что я сегодня рано утромъ жа-  
лѣлъ я теперь завидую. Этотъ шинокъ кажется мнѣ  
храмомъ, а жилища божествомъ. Однако, простите я за-  
болтался, 2 часа, надо рано встать, чтобы уѣхать отсюда.  
Начало моего путешествія знаменательно — чѣмъ оно  
кончится!

## Мои маленькіе натурщики.

Я всегда любилъ дѣтей и потому, думаю, любилъ изображать ихъ въ скульптурѣ. Въ особенности нравятся мнѣ дѣти дошкольнаго возраста. Сцены изъ этого періода дѣтской жизни я старался передавать не только въ скульптурѣ, но и въ нѣкоторыхъ моихъ мимическихъ разсказахъ. Да что можетъ быть пріятнѣе наблюденія надъ веселостію, забавностію, простотою и наивностію маленькихъ существъ! Я наблюдалъ ихъ постоянно въ саду и на дворѣ Академіи Художествъ, гдѣ находилась моя мастерская. Это были все дѣти бѣдныхъ, простыхъ родителей: сторожей, натурщиковъ и служителей Академіи. Родителямъ - труженникамъ некогда смотрѣть за дѣтьми, которые, не находясь подъ постояннымъ надзоромъ старшихъ, веселятся и изобрѣтаютъ игры какъ хотятъ и умѣютъ. Все, что находится во дворѣ: песокъ, камень, дрова и т. п. служить имъ предметомъ игры. А если появится на дворѣ возъ съ дровами, или телѣжка съ молокомъ, то дѣти немедленно извлекаютъ изъ этихъ новыхъ явленій новые способы для забавъ: кто ищетъ сѣна для лошади, кто садится на возъ, а кто помогаетъ молочницѣ носить молоко. Каждый ребенокъ находитъ способъ по-своему выказывать свой характеръ и свои наклонности и глядя изъ окна коридора, куда выходила моя мастерская, на этихъ оставленныхъ безъ присмотра дѣтей, я всегда восхищался ими и отъ души жалѣлъ тѣхъ, которые постоянно и неотлучно находятся подъ опекой воспи-

тателя и не могут свободно играть, какъ имъ хочется. Въ Александровскомъ саду я разъ видѣлъ учительницу. Она держала въ рукѣ записную книжку и въ ней что-то отмѣчала. Кругомъ стояла большая толпа дѣтей, вѣроятно, изъ городской школы. Когда запись кончилась, учительница объясняла игру: дѣтки должны были образовать кругъ, а потомъ вертѣться, сперва справа налево, а потомъ слѣва направо. Долго дѣти не понимали въ чемъ дѣло. Но когда верченіе вправо началось и дѣти весело разыгрались, то въ самомъ разгарѣ веселья, учительница кричала, чтобы всѣ остановились: планъ игры требовалъ другого порядка. При томъ игра, какъ видно, приняла слишкомъ веселый характеръ. Дѣти остановились и были сбиты съ толку.

Что особенно меня восхищало въ простыхъ дѣтяхъ, которыхъ я видѣлъ на дворѣ, это то, что отношенія между ними всегда были добрыя и дружескія. Поражало и то довѣріе, которое эти дѣти питали другъ къ другу. Когда я давалъ деньги для покупки гостинцевъ, то дѣти сами выбирали одного изъ своей среды, котораго все покупалъ и дѣлили поровну между всѣми, конечно, не прибавляя при этомъ: „ты маленькій—тебѣ меньше, ты дѣвочка—тебѣ красненькое, ты мальчикъ—тебѣ голубенькое“.—Дѣти стали ко мнѣ привыкать и приходили меня навѣщать въ мастерскую. Маленькій, пятилѣтній Серька, мальчикъ смысленный, самъ открываетъ дверь въ мастерскую и за собой ведетъ крошечныхъ товарищей своихъ мальчиковъ и дѣвочекъ. Новые гости, стоя у дверей, пугливо на меня смотрятъ. Все зависитъ отъ моего перваго взгляда. Дѣти, какъ щенки, чутьемъ ловятъ отношеніе къ нимъ старшихъ. „Зайди, Серька“, говорю я и дѣлаю видъ, что не замѣчаю гостей, которыхъ онъ привелъ. Тихо и осторожно Серька водить ихъ по мастерской и показывааетъ имъ мои работы, то, что ему особенно нравится. Рассказываетъ онъ то, что я ему никогда не говорилъ и о чемъ

онъ никогда не спрашивалъ. „Вотъ Абрамчикъ купается, а вотъ Павка и Петька, въ банѣ, Петька спрятался — боится. А вотъ я, говоритъ онъ, стыдся. А хочешь—тебя одѣлаютъ“, обращается онъ къ крошечной дѣвчкѣ, „только смотри, смирно сиди“. Дѣти со смиреньемъ и любопытствомъ на все смотрятъ. Одинъ мальчикъ хочетъ взять инструменты. „Трогать нельзя“, говоритъ Серька, „Илья Яковлевичъ не велитъ“. Мальчики постарше приходили ко мнѣ почаще и смотрѣли, какъ я работаю.—„Кто хочетъ сидѣть? Хочешь, я тебя вылѣплю?“ говорю я Петькѣ большому.—„Нѣтъ, меня лѣпи“, говоритъ Петька маленький. „Я, я“, просится крошечный Симка.—„Ну вотъ, я начну съ Пети, а потомъ буду и другихъ лѣпить“, успокоиваю я всѣхъ. Петя внимательно всматривается въ начатую работу „Мальчикъ, выпедшій изъ воды“ и старается принять ту же позу. Но крошечный Симка становится рядомъ и принимаетъ ту же позу. Смѣшно было видѣть, какъ онъ важно и серьезно смотреть на меня своими огромными, сѣрыми глазами. „Симка, тебя не нужно“, говорю я, „ты можешь играть.“—„Позвольте ему стоять“, говоритъ его братъ, „онъ вамъ мѣшать не будетъ“. Во время сеанса другіе мальчики рассказываютъ разныя вещи. Они точно забываютъ, что я между ними, и свободно говорятъ о томъ, что видѣли и слышали у себя дома. Часто бывало я перестаю работать и смотрю, какъ естественно, просто и красиво дѣти сидятъ и играютъ, и эти наблюдения нерѣдко давали мнѣ новыя темы для новыхъ моихъ работъ.

Отъ близкаго знакомства съ дѣтьми простыхъ родителей-труженниковъ, я легко изучилъ дѣтскую натуру, понялъ и полюбилъ ее. Насколько я охотно лѣпилъ съ маленькихъ моихъ натурщиковъ, которыхъ я сумѣлъ приучить хорошо мнѣ позировать и которые даже съ нѣкоторымъ интересомъ относились къ моей работѣ, настолько затруднительна и непріятна была

мнѣ работа съ воспитанными дѣтьми, портреты которыхъ заказывали мнѣ ихъ состоятельные родители. Такого воспитаннаго ребенка я не зналъ, какъ занимать; онъ бѣдненькій скучалъ, и мнѣ его было жалко.— „Онъ долженъ хорошо сидѣть“, говоритъ гувернантка, „отецъ ему объяснилъ, и онъ обѣщалъ слушаться“. И вотъ со слезами на глазахъ сидитъ возлѣ гувернантки изящно одѣтый, завитой ребенокъ. Съ завистью онъ смотритъ, какъ мой маленькій натурщикъ Шурка лѣпитъ утюгъ изъ глины. „Хотите, во время отдыха я Вамъ тоже дамъ кусокъ глины и Вы слѣпите что-нибудь“, предлагаю я ему.— „О, не давайте ему глины“, говоритъ гувернантка, „онъ запачкается. При томъ мать его ничего не сказала насчетъ глины, можно ли ему лѣпить“.—Этого тихаго, скучающаго мальчика я видѣлъ потомъ въ другой обстановкѣ, въ его комнатѣ, въ дѣтской. Онъ такъ капризничалъ, оралъ и ломалъ свои игрушки, что мнѣ казалось, что онъ точно мститъ за то, что внѣ дома онъ долженъ держать себя такъ, какъ несвойственно его натурѣ. Такихъ безотчетныхъ капризовъ я у простыхъ дѣтей не видалъ. Напротивъ: моихъ маленькихъ натурщиковъ мнѣ легко было урезонивать, если они дѣлали то, что меня беспокоило, и если бывали недоразумѣнія, то скорѣе по винѣ старшихъ.

Маленькій Сенька охотно мнѣ позировалъ, и за это я ему позволялъ лѣпить и играть. Иногда мать его заходила ко мнѣ спрашивать, не балуется ли ея сынокъ. Увидя разъ, что онъ ѣстъ яблоко, она сказала: А ты барина поблагодарилъ? Сейчасъ благодари: скажи „Баринъ благодарствуйте“.—Мальчикъ, искренно привязанный ко мнѣ, почему-то постѣснялся произнести эту фразу, дома онъ никогда не благодарилъ. Мнѣ неловко стало за него. „Оставьте его“,— сказалъ я, „онъ потомъ поблагодаритъ“.— „Ахъ, баринъ, нелзя, онъ вырастетъ у меня невѣждой. Я сама жила у господъ и знаю, какъ надо обращаться съ людьми“.—Насупив-

шись, съ опущенными глазами, мальчикъ сквозь зубы произнесъ „Благ-да“, и пересталъ ѣсть яблоко. Я почувствовалъ, что между мной и мальчикомъ мать внесла какую-то рознь, и мальчикъ пересталъ на меня смотрѣть по-прежнему, довѣрчиво и просто.

Выше я сказалъ, что мои натурщики у меня лѣпили. Въ свободное отъ работы время, я давалъ имъ глину, чтобы они играли и не шалили. Сперва я не обращалъ вниманія на то, что они дѣлаютъ, довольный тѣмъ, что они сидятъ тихо и меня не беспокоятъ. Радость ихъ, что я имъ позволяю лѣпить была такъ велика, что они меня во всемъ слушались и послѣ своей работы прекрасно позировали. Дѣти такъ полюбили лѣпку, что приходили утромъ часомъ раньше, приводили новыхъ товарищей и всѣ начинали усердно работать, кто, что могъ и хотѣлъ. Петька—сынъ дворника лѣпилъ куръ, гусей и свиней, Абрамчикъ—сынъ служителя увлекался эполетами, кокардами и шпорами, а Жоржикъ—сынъ натурщицы, лѣпилъ домашнія вещи: утюги, бочки и даже сани. Братъ его Леха помогалъ ему. Скоро всѣ подоконники моей мастерской были заставлены произведеніями моихъ юныхъ скульпторовъ. Они ихъ оставляли сушить и просили, чтобы мой служитель ихъ не выбросилъ. Очевидно, эта работа ихъ такъ занимала, что на слѣдующій день утромъ они являлись очень обезпокоенные. Нѣкоторые сами не вѣрили, что это они сдѣлали.—Меня удивляли успѣхи, которые дѣти дѣлали, хотя я никакихъ указаній имъ не давалъ. Черезъ нѣсколько дней Петька большой, вылѣпилъ мужика въ тулупѣ, отдѣльно вылѣпилъ картузъ и одѣлъ его мужику на голову. Всѣ мальчишки были въ восторгѣ отъ этой работы. „Петя, слѣпи мнѣ такого мужика. И за то дамъ тебѣ свои сани и утюгъ“. И Петя охотно всѣмъ лѣпилъ. Маленькій Лешка принялся копировать мою работу; „купающагося мальчика“, который казался ему очень легкимъ для копирования. Смѣшно было ви-

дѣтъ, какъ маленькій скульпторъ все поднималъ голову и смотрѣлъ на оригиналъ. Иногда онъ вставалъ и ходилъ кругомъ оригинала, какъ я это дѣлаю. Сперва онъ вылѣпилъ пьедесталъ и ноги не могли выдержать корпусъ. Фигура свалилась. Это его очень сердило. „Ну я тебя тогда посажу“, говоритъ онъ про себя, сердясь. И онъ, дѣйствительно, фигуру посадилъ. Вышло что-то другое, очень курьезное, но милое. Когда работа высыхала, я позволялъ брать работу домой. Гуськомъ дѣти выходили, осторожно неся на ладони свои произведенія и отъ удовольствія забывали прощаться, забывали свои шапки и другія игрушки. Вѣсть о скульптурныхъ произведеніяхъ моихъ маленькихъ натурщиковъ разнеслась по всему подвальному коридору, по которому живутъ служители Академіи. Какъ видно, родители были довольны необыкновеннымъ занятіемъ дѣтей. Нѣкоторые приходили ко мнѣ и спрашивали, правда ли, что дѣти сдѣлали сами то, что домой приносили. По воскресеньямъ моя мастерская стала заполняться старшими братьями моихъ натурщиковъ, которые въ будни ходили въ городскую школу. Человѣкъ десять иногда собиралось у меня. И въ это праздничное утро я окончательно предоставлялъ свою мастерскую дѣтямъ. Всѣ просили глины, чтобы лѣпить. Меня радовало, что нѣкоторые выказывали особенныя способности къ лѣпкѣ, но большинство лѣпило подражая и плохо копируя другихъ. Однако всѣ дѣлали успѣхи, и меня поразило съ какой легкостью и простотой дѣти занимаются тѣмъ искусствомъ, которое принято у насъ называть „самымъ труднымъ и непонятнымъ“. Я сталъ ближе присматриваться къ этому совершенно новому для меня явленію. До моего знакомства съ дѣтьми изъ народа, я вездѣ слышалъ, что лѣпка очень трудно дается дѣтямъ, что всякому учиться лѣпкѣ нельзя. Мнѣ это говорили образованные люди, которые обучали крошечныхъ дѣтей игръ на рояли, на скрипкѣ, учили ихъ рисовать цвѣты

и т. д. До того я привыкъ часто выслушивать такія мнѣнія, что я самъ сталъ думать, что скульптура, дѣйствительно, составляетъ исключеніе въ семьѣ искусствъ и что оттого лѣпка не введена въ программу обученія. То, что дѣти простыхъ родителей легко и смѣло лѣпятъ у меня въ мастерской, дѣлають успѣхи и увлекаются скульптурой, навело меня на мысль, что распространеніе познаній искусства скульптуры лежитъ не въ самомъ искусствѣ, не въ трудности обученія, а внѣ ея. Я пошелъ еще дальше и послѣ долгихъ наблюденій убѣдился, что лѣпка самое легкое изъ искусствъ. Я не говорю уже объ игрѣ на рояли, на скрипкѣ, для изученія техники которыхъ требуется страшное усиліе и необычайный трудъ, но даже рисованіе, родственное скульптурѣ во много разъ труднѣе и сложнѣе скульптуры. Я давалъ моимъ мальчикамъ бумагу и карандашъ и замѣчалъ, что безъ моего указанія они ничего не въ состояніи сдѣлать. Столъ, который они такъ вѣрно лѣпили изъ глины, (правильную, четырехугольную доску ставили на четыре одинаковой величины ножки) на плоскости перспективы выходило нелѣпо и несуразно: кривая доска на неровныхъ ножкахъ. А между тѣмъ ничто для дѣтей не имѣетъ такого развивающаго значенія, какъ лѣпка. Соотношенія частей и отличіе главнаго отъ второстепеннаго нигдѣ такъ не очевидно, какъ въ лѣпкѣ. Велико заблужденіе, что раньше, чѣмъ лѣпить, нужно умѣть рисовать. Дѣти лѣпятъ, не имѣя никакого понятія о рисованіи, и въ школахъ лѣпка должна всегда предшествовать рисованію.

Нѣкоторые изъ моихъ натурщиковъ поступили въ формовскую (Академія Художествъ, гдѣ отливають изъ гипса). Лѣпка имъ помогла заниматься этимъ дѣломъ. Въ свободное время они стали посѣщать школу рисованія. Иногда они заходили ко мнѣ, и что-то хорошее, доброе связываетъ меня съ ними.





Первая работа.

•

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

## **М. М. Антокольскій, его жизнь и его творенія.**

(Род. въ 1842 г.; умеръ 26 іюня 1902 г.).

Маркъ Матвѣевичъ Антокольскій—одинъ изъ тѣхъ замѣчательныхъ людей, которые своимъ необычайнымъ талантомъ, оригинальнымъ умомъ и настойчивостью характера достигли всемірной славы и справедливо будутъ пользоваться этой славой всегда. Онъ принадлежитъ къ числу талантовъ-самородковъ, которые рождаются при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ и прокладываютъ свой путь сквозь терніи, только благодаря изъ ряда вонъ выходящимъ личнымъ качествамъ. Вотъ отчего біографія этого выдающагося человѣка и высоко-даровитаго художника одна изъ самыхъ интересныхъ. Жизнь его полна фактовъ въ высшей степени поучительныхъ,—фактовъ, которые проливаютъ свѣтъ на нѣкоторые вопросы, касающіеся условій развитія таланта вообще. Такъ, споконъ вѣка установился взглядъ на то, что евреи, способные къ искусствамъ, поэзіи и музыкѣ, неспособны къ изобразительнымъ искусствамъ, живописи и скульптурѣ, въ особенности къ послѣдней. Дѣйствительно, по разнымъ причинамъ, а также потому, что еврейская религія запрещаетъ дѣлать скульптурныя изображенія, искусство это не развилось у евреевъ. Но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы эта способность совершенно отсутствовала у евреевъ. Причины, мѣшающія развиваться искусству, могутъ исчезнуть, а религія не всегда была единственнымъ двигателемъ и объ-

ектомъ искусства, какъ это мы видимъ во фламандскомъ и въ голландскомъ искусствѣ. И вотъ появляется первый скульпторъ-еврей Антокольскій, и этотъ примѣръ достаточенъ, чтобы разрушить всю легенду о неспособности евреевъ къ скульптурѣ. Сейчасъ послѣ него является цѣлая плеяда молодыхъ евреевъ, которые занимаются скульптурой съ такимъ же успѣхомъ, какъ и другими искусствами. Это доказалъ русскій отдѣлъ на всемірной выставкѣ, на которой число еврейскихъ скульпровъ, получившихъ награду, было весьма значительно. Второй поучительный фактъ это то, что, М. М., вышедшій изъ очень бѣдной, религіозной еврейской семьи и никогда не порывавшій со своими сородичами близкихъ отношеній, однако всю жизнь творилъ и работалъ въ русскомъ духѣ, исторически вѣрно изображалъ русскихъ героевъ и царей. А этому способствовало то, что онъ попалъ въ такое время, когда въ искусствѣ и въ наукѣ не дѣлалось различія между національностями, и что среда хорошихъ русскихъ людей приблизила М. М. къ себѣ и отнеслась къ нему какъ къ таланту, а не какъ къ чужому человѣку другой вѣры и другой расы. Впрочемъ, о вліяніи 60-хъ годовъ на талантъ М. М. я скажу послѣ, когда буду говорить о его работахъ, а пока сообщу нѣсколько біографическихъ свѣдѣній.

М. М. не любилъ говорить о своемъ дѣтствѣ, которое было безотраднo и печально. В. В. Стасову онъ писалъ въ 1898 году: „Въ дѣтствѣ я не былъ балованъ никѣмъ. Я былъ нелюбимый ребенокъ. Мнѣ доставалось отъ всѣхъ; кто хотѣлъ, билъ меня, даже прислуга, а ласкать меня никто не ласкалъ“. Неудивительно, что такое дѣтство непріятно ему было вспоминать. Только о матери своей онъ часто говорилъ; онъ обожалъ ее за ея доброту, за ея свѣтлый, живой умъ. Въ 1899 г. М. М. диктовалъ мнѣ краткій конспектъ своей біографіи; вотъ что я тогда записалъ: „Родился я въ 1848 году

въ городѣ Вильнѣ, среди очень небогатоѣ семьи; насъ было семеро. Я былъ нелюбимцемъ родителей и исправлялъ въ семействѣ должность рабочей лошади. Понятія о художествѣ въ то время въ городѣ Вильнѣ, а тѣмъ болѣе въ нашемъ семействѣ, были самыя ограниченныя; тѣмъ не менѣе страсть къ искусству появилась у меня съ самаго ранняго возраста. За неимѣніемъ днемъ свободнаго времени я рисовалъ только по ночамъ и за работою такъ бывало засыпалъ. Чтобы доставать бумагу и карандашъ, я взамѣнъ отдавалъ свой завтракъ и обѣдъ. Моя страсть не была понятна родителямъ, и они не только ее не поощряли, но жестоко преслѣдовали ее. Я былъ отданъ въ ученіе къ самымъ прозаическимъ ремесленникамъ, ничего общаго не имѣвшимъ съ художествомъ. Я не могъ долго оставаться: у однихъ хворалъ, а отъ другихъ бѣжалъ. Наконецъ, былъ отданъ рѣзчику, будто болѣе подходящее ремесло по моему внутреннему стремленію. Но и это меня не удовлетворяло; втайнѣ отъ всѣхъ продолжалъ по ночамъ любимое мое занятіе—рисовать“. Объ этомъ рисованіи рассказывала мнѣ его любимая сестра Эстеръ: „Маркъ еще маленькимъ мальчикомъ имѣлъ страсть къ рисованію. По цѣлымъ днямъ, бывало, онъ рисовалъ на столахъ и стѣнахъ и иногда изображалъ на стѣнѣ въ натуральную величину цѣлую фигуру и сцены. У насъ была харчевня. Внизу мы торговали, а наверху у насъ была комната для посѣтителей. Гости бывало нарочно приходили смотрѣть рисунки Марка и удивлялись его мастерству. Конечно, родители не знали и не понимали его влеченія къ рисованію: они отдали его сперва къ позументщику, а потомъ къ рѣзчику по дереву. Впоследствии, когда Маркъ поступилъ въ академію, онъ лѣтомъ пріѣзжалъ къ намъ. У него была своя комната на чердакѣ и тамъ онъ работалъ изъ дерева и изъ слоновой кости“. Рѣзчикъ Стеселькраутъ, у котораго М. М. былъ въ ученіи почти три года, еще теперь имѣетъ

свой магазинъ рамъ и картижъ въ Вильнѣ. Вотъ что онъ мнѣ разсказалъ: „М. М. былъ мальчикъ очень добраго и тихаго нрава. Я его полюбилъ за его прилежаніе. Способности у него были огромныя, и онъ страшно увлекался работой. Не забуду я, какъ разъ, поднимаясь въ свою мастерскую, я наткнулся на слѣдующую сцену. Ученикъ мой М. М. держитъ въ рукахъ деревянную рамку, имъ только что оконченную, держать ее на манеръ того, какъ держать тору въ синагогѣ. Торжественно съ этой рамкой ходитъ онъ по комнатѣ и напѣваетъ псалмы; такъ онъ былъ доволенъ удачной работой. Послѣ меня онъ работалъ у другого мастера, Джимодра, у котораго получалъ хорошее жалованье. У него онъ работалъ иконостасы для церквей, и для этой цѣли ему часто приходилось разъѣзжать по другимъ городамъ. Тамъ онъ познакомился съ религіозной живописью и скульптурой“.

М. М. въ своей автобіографіи, напечатанной въ 1887 г. въ „Вѣстникѣ Европы“, описываетъ подробно свое положеніе въ Вильнѣ. „Жизнь дома не удовлетворяла меня. Моей завѣтной мечтой было—ѣхать куда-нибудь учиться. Родители и слышать не хотѣли; мечты мои они называли бредомъ, который нужно изъ головы выкинуть. Они хотѣли видѣть своего сына во время пристроеннымъ, какъ Богъ и добрые люди велятъ“. Но не такъ думалъ и не о томъ мечталъ молодой талантъ. Внутреннее чувство тянуло его куда-то впередъ. При томъ рассказы его друга-идеалиста, какого-то землемѣра, объ искусствѣ, о высшихъ задачахъ жизни совершенно вскружили ему голову и сдѣлали для него невозможнымъ дальнѣйшее пребываніе дома. И вотъ „свѣтъ не безъ добрыхъ людей“, пишетъ М. М. „Много пришлось мнѣ пережить, но безъ этихъ добрыхъ людей я бы совсѣмъ не пережилъ. Первая среди нихъ была А. А. Назимова, жена бывшаго виленскаго генералъ-губернатора. Ей понравились первыя мои работы: это была копія, го-

лова Христа и божья Матерь изъ дерева. Она дала мнѣ письмо въ Петербургъ къ баронессѣ Радѣнъ, а та рекомендовала меня профессору Пименову“. Живо и талантливо описываетъ М. М. свой отъѣздъ въ Петербургъ и свое поступленіе въ академію. Искренностью и правдивостью дышетъ его разсказъ о томъ, что онъ тогда пережилъ. Приѣхалъ онъ (ему было тогда 21-й годъ) въ чужой ему Петербургъ совершенно безъ средствъ къ существованію, но жажда ученія заглушала въ немъ чувство одиночества и бѣдности. Со страшнымъ трудомъ ему удается поступить въ академію, о которой онъ столько мечталъ. Онъ ожидаетъ получить въ академіи ту духовную пищу, достигнуть тѣхъ идеаловъ, о которыхъ ему разсказывалъ пріятель въ Вильнѣ, но скоро ему приходится разочароваться. Въ академіи тогда царила мертвящая рутина и застой. Профессора были всѣ старые, очень добрые, почтенные, у каждаго изъ нихъ была своя прошедшая заслуга, но „они всѣ уже были утомлены, добродушіе ихъ превратилось въ апатію, свойственную старости, когда наступаетъ время думать о превратностяхъ міра. Мы были для профессоровъ чужіе, какъ и они для насъ; ихъ мастерскія были для насъ закрыты, ихъ работы не были видны на выставкахъ; однимъ словомъ, мы блуждали безъ руководителей. Единственные люди, которые и по таланту и по участію къ молодежи внушали къ себѣ уваженіе и любовь, это были Пименовъ и Реймерсъ. Но оба они скоро умерли, и въ академіи какъ будто никого не стало. И вотъ, по странному стеченію обстоятельствъ, въ то время, какъ въ самомъ храмѣ искусства царствуетъ апатія, лѣнь и отжившая традиція, внѣ его зарождается нѣчто особенное, живое: цѣлая плеяда молодыхъ, высоко-даровитыхъ людей ищетъ ученія и жаждетъ живого свѣтлаго слова. Понятно, почему эти молодые люди, не находя у профессоровъ отвѣта на мучившіе ихъ вопросы, сплотились, вмѣстѣ стали работать, учиться другъ у друга и сблизились такъ, какъ

могутъ сблизиться люди, которые стремятся къ одной и той же духовной цѣли и любятъ одно и то же дѣло. Въ особенности М. М. близко сошелся съ И. Е. Рѣпнымъ: вмѣстѣ они жили, вмѣстѣ развивались. Это былъ лучший его другъ: товарищи собирались, спорили, говорили объ искусствѣ. Жажда знанія была у всѣхъ огромная. Общій потокъ стремленій шестидесятыхъ годовъ увлекъ и этихъ воодушевленныхъ любовью къ искусству людей, и они стали слѣдить за наукой и литературой, желая выяснитъ вопросы искусства. Къ сожалѣнію тогда существовали крайніе взгляды на искусство подъ вліяніемъ Чернышевскаго, Добролюбова и др., крайность, вызванная пробужденіемъ искусства отъ долгаго сна. „Мы сознавали, что мы стоимъ не на твердой почвѣ, что намъ нечѣмъ защищать то, что мы такъ любимъ, что насъ такъ сильно влечетъ къ себѣ. И мы бросились искать знаніе, сами не зная, гдѣ его найти: искали въ книгахъ, читали все, что только тогда было въ переводѣ на русскомъ языкѣ, читали безъ разбора и безъ системы“. Словомъ, этимъ молодымъ пришельцамъ въ академію пришлось самимъ искать и создавать то, что ни въ академіи, ни въ обществѣ не было для искусства подготовлено. Но вскорѣ пришла и помощь. Ученый идеалистъ М. В. Праховъ своими бесѣдами объ искусствѣ страшно заинтересовалъ Рѣпина и Антокольскаго. Они увлекались его лекціями и любили его за его безкорыстіе и сердечность. Еще больше вынесли они отъ знакомства съ умнымъ, развитымъ художникомъ Крамскимъ и всесторонне образованнымъ, талантливымъ критикомъ В. В. Стасовымъ. „Такъ приобрѣлъ я столько знакомыхъ, столько добрыхъ, простыхъ и искреннихъ друзей, что въ ихъ духовной средѣ я чувствовалъ, что я духовно обогащаюсь, что горизонтъ мой расширяется“.

„Жизнь кипѣла горячимъ ключемъ“, пишетъ А. К. Савицкій въ своихъ воспоминаніяхъ о М. М. Антокольскомъ.



„Непреодолимо было стремленіе къ самодѣтельности. Мы радовались проявленію оригинальности и самобытности замысловъ и съ еще большимъ восторгомъ и ликоваіемъ такихъ сверстниковъ, товарищей по искусству, когда работы ихъ имѣли успѣхъ или поощрялись академіей. Это бодрило насъ; мы внутренне сознавали, что „наша беретъ“. Кумиръ академіи мало-по-малу блѣднѣлъ. Такому увлеченію нельзя было ограничиться работами только въ академіи; каждый изъ насъ, бывшихъ учениковъ, писалъ самостоятельно картины и выставлалъ.

„Теперь я не былъ уже прежнимъ юношей“, пишетъ М. М., „блуждающимъ по ночамъ по набережной и умоляющимъ звѣзды вразумить его, сказать ему, что такое искусство, научить куда и какъ идти. Теперь я зналъ себя, зналъ свою дорогу. Сталъ я понимать, что въ искусствѣ есть двоякая красота, физическая и душевная; насколько первая принадлежитъ къ декоративному искусству, настолько вторая свойственна духовной; понялъ, что между душевной красотой и добромъ есть близкое родство, сталъ смотрѣть на античное искусство болѣе сознательно, любовался его величавымъ спокойствіемъ, простотой, пластической шириной, однимъ словомъ, всѣмъ его внѣшнимъ совершенствомъ. Но я любовался всѣмъ этимъ только глазами; я не могъ испытывать того духовнаго наслажденія, которое греки испытывали, и не могъ просто потому, что это были ихъ идеалы, ихъ боги, а не мои“. Это быстрое умственное развитіе принесло свои плоды, и на работахъ уже отражается зрѣлость и болѣе сознательное отношеніе къ задачамъ своимъ. Въ это время М. М. работаетъ сцены изъ еврейской жизни, которая была ему столь близка и знакома. Какъ растеніе, геніальный и глубокій талантъ питается соками той почвы, на которой онъ выросъ. Онъ вырѣзалъ изъ дерева еврея—„портного“ и изъ слоновой кости еврея

„скупого“, а затѣмъ цѣлую композицію; „споръ о талмудѣ“. Въ этихъ работахъ чувствуется тонкая наблюдательность, правдивость и чрезвычайно талантливая передача быта евреевъ. Но скоро М. М. не удовлетворяется однимъ жанромъ: его талантъ склоненъ къ болѣе идейнымъ сюжетамъ, и онъ приступаетъ къ исполненію эскиза: „нападеніе инквизиціи на евреевъ“. Въ этомъ эскизѣ мнѣ хотѣлось вывести цѣлый рядъ еврейскихъ типовъ, выработанныхъ историческимъ ходомъ событій, но главное, это показать въ скульптурѣ по своему, до сихъ поръ еще небывалымъ образомъ“. Стасовъ, описывая эту вещь, говоритъ: „Эта сцена, эти выраженія, эти народные и племенные характеры и типы, эти разнообразныя душевныя движенія, то высокія, то низкія, то великодушныя и широкія, то дрянныя и мелкія, образовали одну изъ капитальнѣйшихъ страницъ еврейской исторіи, переданную въ совершенно новыхъ формахъ искусствомъ, въ продолженіи столѣтій трусливымъ и отсталымъ, а теперь смѣлымъ и ступающимъ на новыя пути“. А эти новыя пути были такъ смѣлы и оригинальны, что академическіе профессора не на шутку разсердились на смѣлаго новатора. Изъ за этой „Инквизиціи“ М. М. чуть не былъ прогнанъ изъ академіи. Дѣйствительно, какъ имъ не возмущаться? Въ „Инквизиціи“ М. М. отступилъ отъ всѣхъ правилъ барельефнаго искусства, да еще ввелъ новый элементъ: искусственное освѣщеніе. Но товарищи и истинные знатоки привѣтствовали М. М. и радовались его успѣху. Этой работой заканчивается періодъ его работы на еврейскія темы, и хотя впоследствии М. М. еще задумываетъ сюжеты изъ еврейской жизни, дѣлаетъ эскизы изъ еврейской исторіи: Моисея, Вѣчнаго жида, Ревекку, однако къ ихъ исполненію онъ не возвращается. Лишь за годъ до смерти своей, онъ опять возвратился къ „Инквизиціи“.

Послѣ первой своей „Инквизиціи“ у М. М. является

въ творествѣ перерывъ: это время для него было очень тяжелое. Его неопредѣленное положеніе въ академіи очень его беспокоило: какъ вольнослушающій онъ не могъ пользоваться правами при окончаніи академіи. Кромѣ того матеріальное положеніе было незавидное. „Судьба не баловала художника“, писалъ А. К. Савицкій, „такъ какъ рядомъ съ большимъ подъемомъ душевнаго настроенія, подъ вліяніемъ того, что его работа всѣмъ нравится, возбуждаетъ всеобщій интересъ, Антокольскій страшно перебивался, нуждаясь въ каждомъ рублѣ“. И вотъ М. М. думаетъ попытать счастье въ другой академіи, и онъ ѣдетъ въ Берлинъ, но оттуда скоро возвращается еще болѣе печальный и разочарованный. Тогда берлинская академія по своей отсталости ничѣмъ не отличалась отъ петербургской. Лишенія и внутреннія сомнѣнія въ это время такъ дѣйствуютъ на М. М. Антокольскаго, что онъ падаетъ духомъ, и кажется ему, что и товарищи стали къ нему иначе относиться. Однако это состояніе продолжается у него не долго. Онъ много читаетъ, изучаетъ исторію и замышляетъ новую крупную работу. Работа эта опредѣляетъ сразу его талантъ и рѣшаетъ его судьбу: онъ вылѣпилъ статую Ивана Грознаго. Но какъ это случилось, что М. М., работавшій на темы еврейскія, вдругъ поворачиваетъ на русскую исторію, исполняетъ историческую статую такъ, какъ до сихъ поръ никто изъ русскихъ художниковъ не дѣлалъ? Мы видимъ, что въ Вильдѣ, когда онъ еще только началъ работать, единственными образцами искусства для него, были иконостасы, и онъ копируетъ вещи религіознаго содержанія. Поступивъ въ академію и получивъ тамъ технику, онъ почувствовалъ потребность творить и сталъ черпать свои сюжеты изъ жизни евреевъ, жизни наиболѣе ему близкой и извѣстной. Но по натурѣ своей М. М. не былъ жанристомъ: развиваясь, онъ сталъ стремиться къ общимъ идеямъ, къ исторіи. Въ

Петербургъ, какъ онъ самъ пишетъ, подъ вліяніемъ высоко-образованныхъ людей, онъ духовно обогащается и его горизонтъ расширяется. Его „Инквизиція“ задача широкая и глубокая. Въ средѣ даровитыхъ товарищей онъ изучаетъ русскую литературу, русскую старину. Жизнь русскихъ начинается его глубоко интересовъ и онъ проникается ею. Всему этому помогаетъ то сердечное отношеніе, которое проявляло къ нему тогдашнее общество: не только не дѣлали различія между нимъ—евреемъ и товарищами его, но всѣ смотрѣли съ особеннымъ участіемъ на него, приближали его къ себѣ и отнюдь не давали ему чувствовать, что его происхожденіе чѣмъ то отличаетъ его отъ всего окружающаго. Вообще въ то время русскіе люди сознавали важность для родины полнаго объединенія людей на почвѣ правды и справедливости. Слѣдствіемъ этого объединенія было то, что всѣ образованные люди безъ различія вѣры и происхожденія дружно работали, стремясь къ прогрессу. Разительный примѣръ такого сближенія представляетъ М. М.: онъ всѣмъ сердцемъ полюбилъ тѣхъ, которые его приласкали и которые его просвѣтили. Онъ изучаетъ исторію русскаго народа, которому онъ посвящаетъ свой талантъ. Словомъ, онъ дѣлается русскимъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова.

М. М. останавливается на двухъ противоположныхъ типахъ русской государственности: на Иванѣ Грозномъ и Петрѣ. „Мнѣ хотѣлось олицетворить двѣ совершенно противоположныя черты русской исторіи“, пишетъ онъ. „Мнѣ казалось, что эти столь чуждые одинъ другому образы въ исторіи дополняютъ другъ друга и составляютъ нѣчто цѣльное. Я бросился изучать ихъ по книгамъ“. Онъ начиналъ съ Ивана Грознаго. Въ то время типъ этого загадочнаго царя страшно занималъ русскихъ художниковъ. Зачитывались произведеніями графа Алексѣя Толстого, изображающаго Ивана Грознаго; интересовались рисунками Шварца на ту же тему.

Но Антокольскій совершенно своеобразно представилъ типъ этого царя. И по идеѣ и по исполненію ничего подобнаго не было еще создано въ скульптурѣ не только у насъ, но и въ Европѣ. Это была первая оригинальная русская статуя. До этого въ скульптурѣ царствовало вліяніе классицизма и итальянскаго искусства XVII в.; сюжеты изъ русской исторіи совершенно игнорировались скульпторами, по долгу жившими въ Римѣ, или исполнялись по образцамъ классическихъ. Статуя Антокольскаго была сдѣлана непосредственно, безъ всякаго вліянія какой бы то ни было школы, и въ этомъ отношеніи Антокольскій сказалъ новое слово въ скульптурѣ.

Несмотря на то, что скульптура въ Россіи стояла тогда на низкой ступени и чужда была пониманію толпы, появленіе статуи Ивана Грознаго было событіемъ для всѣхъ въ Петербургѣ. Мастерская М. М. осаждалась народомъ. Государь императоръ Александръ II самъ поднялся на четвертый этажъ академіи, чтобы посмотреть на статую и ее одобрилъ. В. В. Стасовъ привѣтствовалъ появленіе этой статуи словами: „Это безспорно примѣчательнѣйшее созданіе русской скульптуры. Подобной силы и глубины выраженія, подобной реальности и правды не представляло еще до сихъ поръ отечественное ваяніе“. Почти одновременно писалъ Тургеневъ: „По силѣ замысла, по мастерству и красотѣ исполненія, по глубокому проникновенію въ историческое значеніе и въ самую душу лица, изображаемаго художникомъ, статуя эта рѣшительно превосходитъ все, что являлось у насъ до сихъ поръ въ этомъ родѣ“. Успѣхъ былъ огромный. Академія вопреки всѣмъ правиламъ присудила ему званіе академика. „Я заснулъ бѣднымъ и всталъ богатымъ“, пишетъ М. М. Антокольскій въ своей автобіографіи. „Вчера былъ неизвѣстнымъ, сегодня сталъ моднымъ, знаменитымъ“. Однако это торжество стоило ему до-

рого: вкладывая въ эту работу всю свою душу, онъ слишкомъ не пожалѣлъ своего тѣла. Здоровье его настолько пошатнулось, что С. П. Боткинъ нашелъ его состояніе опаснымъ и велѣлъ ему немедленно уѣхать въ Италію. Не замѣтилъ онъ также, что работа поглощаетъ всѣ его средства, и онъ остался безъ гроша. Еще незадолго до того онъ отказался отъ стипендіи, которую онъ съ самаго пріѣзда въ Петербургъ получалъ отъ барона Гинцбурга, извѣстнаго филантропа, помогавшаго не одной сотнѣ молодыхъ людей выбраться на свѣтъ. Онъ былъ упоенъ успѣхомъ и ни слабаго здоровья ни бѣдности своей не замѣчалъ. И только когда доктора его напугали, а товарищи сами предложили ему нѣсколько десятковъ рублей, онъ точно очнулся отъ глубокаго сна и сталъ думать о себѣ, о своемъ здоровьѣ. Къ счастью императоръ Александръ II заказалъ статую Ивана Грознаго въ бронзѣ, а великая княгиня Марія Николаевна заказала повтореніе „Инквизиціи“ въ терракотѣ. Онъ скоро собрался и уѣхалъ въ Италію. Уѣхалъ онъ не одинъ, а взялъ меня съ собою. За восемь мѣсяцевъ до того времени, о которомъ пишу М. М., съѣздивъ на короткое время въ Вильну, увидѣлъ тамъ мои первые опыты въ скульптурѣ. Показалось ему, что у меня есть способности къ лѣпкѣ, и онъ взялъ меня, незнакомаго ему мальчика, въ Петербургъ. Тогда онъ только что началъ „Ивана Грознаго“. Онъ былъ страшно озабоченъ этой работой и очень нуждался въ деньгахъ. Но несмотря на это онъ помѣстилъ меня у себя, въ своей небольшой комнатѣ и дѣлилъ со мной послѣдніе свои гроши. Я привязался къ нему, какъ только можно привязаться къ чело-вѣку, который дѣлаетъ добро во имя любви къ ближнему. Все, что тогда происходило у него и вокругъ него, меня интересовало, и его радости и печали отражались и на мнѣ. Я тогда былъ свидѣтелемъ его духовнаго подъема. Онъ вѣрилъ въ людей, любилъ

всѣхъ, платя имъ за то добро, которое они ему дѣлали. Уѣхалъ онъ, съ сожалѣніемъ оставивъ лучшихъ друзей и знакомыхъ, о которыхъ онъ не переставалъ мнѣ говорить и по дорогѣ, и въ Италиі. Говоря объ отношеніяхъ къ нему, онъ слова „еврей“ не произносилъ и считалъ въ порядкѣ вещей, что его признаютъ за русскаго. Не думалось тогда ему, что пройдетъ десятокъ-другой лѣтъ и все переменится такъ, что добрыя чувства превратятся въ озлобленіе. Взявъ меня съ собою, онъ увезъ и съ собою и свидѣтеля его радостей. Впослѣдствіи я былъ свидѣтелемъ его горя.

Въ Италиі М. М. очутился въ средѣ русскихъ художниковъ и людей, сочувствующихъ ему. „Въ Римѣ,—пишетъ товарищъ его баталитись П. О. Ковалевскій,—Антокольскій опять сталъ жить полной художественной жизнью“. Несмотря на недавній свой успѣхъ, М. М. остался тѣмъ же добрымъ пріятелемъ и доброжелательнымъ человѣкомъ. Черезъ годъ уже появляется новая статуя М. М. „Петръ Великій“. Въ этой статуѣ М. М. проявилъ столько мощи и силы, что не вѣрилось, что это сдѣлалъ человѣкъ слабаго здоровья, который годъ тому назадъ былъ докторомъ приговоренъ къ смерти. Въ „Петрѣ Великомъ“ М. М. олицетворяетъ высшую активную силу и торжество воли. Это не Иванъ больной, ушедшій въ себя и обдумывающій свое печальное прошлое: Петръ устремляется впередъ. Это будущность, прогрессъ Россіи. Впослѣдствіи, черезъ большой промежутокъ въ 18 лѣтъ, М. М. сдѣлалъ подобную статую, выражающую такую же активную силу и отвагу: это Ермакъ. Съ технической стороны „Петръ Великій“ выдѣляется изъ общаго уровня современной скульптуры. Въ Италиі статуя Петра произвела фуроръ, но въ Петербургѣ, гдѣ она была выставлена въ 1873 г., она не имѣла успѣха. Впослѣдствіи „Петръ“, купленный государемъ, былъ поставленъ въ Петергофѣ въ Monplaisir'ѣ. Изъ русской исторіи М. М. дѣлаетъ еще

четыре эскиза конныхъ статуй, проекты для моста. Изъ нихъ въ особенности замѣчательны проекты Іоанна III и Ярославъ Мудраго, полные исторической правды и художественной красоты. Къ сожалѣнію, проекты эти никогда не были осуществлены, между тѣмъ это лучшія вещи въ монументальномъ искусствѣ, которыя могли бы быть украшеніемъ любой столицы Европы.

Послѣ указанныхъ работъ М. М. переходитъ къ сюжетамъ изъ всеобщей исторіи; всемірный Римъ еще болѣе развилъ въ немъ любовь къ міровымъ идеямъ. „Есть четыре степени эгоизма,—писалъ онъ мнѣ,—личный, семейный, національный и общечеловѣческій. Излишне сказать, чей эгоизмъ лучше, кто больше страдаетъ и наслаждается, чья жизнь шире и глубже. Я не могу прослѣдить самого себя, какими путями и почему складывался у меня взглядъ и любовь на общечеловѣческія идеи. Съ тѣхъ поръ какъ помню себя, я иначе не думалъ, хотя вначалѣ и по-ребячески. Я тогда разсуждалъ о томъ, что мы родились на всемъ готовомъ и что наша задача—отплатить человѣчеству чѣмъ-нибудь. Съ тѣхъ поръ и понынѣ я иду той же дорогой, и я рѣшительно не раскаиваюсь“. Его „Христосъ“, „Сократъ“ и затѣмъ „Спиноза“ выражаютъ всемірную идею неблагодарности толпы къ своимъ великимъ людямъ. „Толпа никогда не почитаетъ своихъ великихъ людей, а ихъ .тиранить“, часто говорилъ онъ. И вотъ этотъ упрекъ толпѣ онъ выражаетъ въ своихъ герояхъ, принадлежащихъ разнымъ эпохамъ человѣчества: Христосъ, связанный, стоитъ передъ тѣмъ народомъ, которому онъ ясно, свободно говорилъ о любви къ ближнему; Сократъ лежитъ отравленный ядомъ, который преподнесенъ ему неблагодарными согражданами, не понявшими его проповѣдей о любви и справедливости; Спиноза, преслѣдуемый общественнымъ мнѣніемъ, шепчетъ: „Я прохожу мимо зла человѣческаго, ибо оно мнѣ мѣшаетъ служить идеѣ Бога“. По исполненію статуи



эти представляют собой оригинальнѣйшія произведенія искусства. Нѣтъ у него условныхъ классическихъ пріемовъ, которые тогда еще господствовали въ Италіи. М. М. трактуеть всякій сюжетъ просто, естественно и правдиво. Рядомъ съ сюжетами историческими, М. М. работаетъ вещи, выражающія общую печаль, скорбь и смиреніе. Образцомъ поэтичности и элигичности можетъ служить статуя его: „Надгробный памятникъ княжнѣ Оболенской“. Въ этой статуѣ М. М. передалъ въ удивительно правдивыхъ и простыхъ формахъ печаль. Такою же поэтичностью отличаются его барельефы „Безвозвратная потеря“, „Послѣдній вздохъ“ и въ особенности барельефъ молодого художника, барона Гинцбурга.

Шесть лѣтъ пробылъ М. М. въ Италіи. Прекрасный климатъ, чудная природа и интимный кружокъ русскихъ благотворно дѣйствовали на его настроеніе. Его художественный кругозоръ расширился, благодаря изученію музеевъ и итальянскихъ древностей. Въ особенности полюбилъ онъ эпоху до-ренессанса и флорентійскую школу. Задушевность, простота этихъ эпохъ болѣе отвѣчали его поэтической натурѣ и его душевному настроенію. Изъ скульпторовъ онъ особенно полюбилъ Донателло, Лука делла Роббіа и Сансовино.

Въ 1878 г. М. М. выставляетъ всѣ свои работы на всемірной парижской выставкѣ и имѣетъ огромный успѣхъ. Онъ получаетъ высшую награду и орденъ Почетнаго Легіона. Еще за нѣсколько лѣтъ до того кенсингтонскій музей пріобрѣлъ слѣпокъ съ „Ивана Грознаго“ честь, которой удостоиваются только лучшіе художники въ мірѣ. М. М., поработавъ еще въ Парижѣ два года, сдѣлалъ голову Іоанна Крестителя, Мефистофеля и нѣсколько бюстовъ. Онъ всѣ свои вещи везетъ въ Петербургъ и устраиваетъ выставку, 1880 г., въ своей alma mater, въ академіи. Никогда въ залахъ академіи не было столько скульптурныхъ произведеній одного и того же художника; никогда въ скульптурныхъ рабо-

тахъ, выставленныхъ въ академіи, не было столько серьезности, глубокой мысли и художественнаго совершенства, какъ на этотъ разъ. Товарищи и друзья М. М. были въ восторгѣ отъ этой выставки. Они привѣтствовали талантъ, который въ короткій промежутокъ времени успѣлъ сдѣлать столько замѣчательныхъ вещей. Но не такъ поняли и не такъ думали нѣкоторыя газеты и часть публики. Съ семидесятаго года многое уже перемѣнилось. Ужъ не было того единенія и тѣхъ стремленій. Отчужденность и вражда, на почвѣ національной розни, уже стала распространяться и Антокольскому стали ставить въ упрекъ его происхожденіе и его вѣру. Успѣхъ выставки былъ слабый. Разочарованный, съ чувствомъ горечи, М. М. уѣхалъ въ Парижъ и принялся опять за работу. Въ Италію онъ больше не вернулся, хотя часто порывался туда переселиться. Парижъ онъ не особенно любилъ. Онъ не выносилъ шума и блеска этого всемірнаго города. Кромѣ того само искусство французское было ему не по душѣ. „Есть тутъ въ искусствѣ много хорошаго и прекраснаго“—писалъ онъ мнѣ въ то время, „но есть и нѣчто такое, отъ котораго хотѣлъ бы бѣжать и бѣжать“. „Я немного усталъ отъ французскаго искусства,—писалъ онъ В. В. Стасову въ 1886 г.—Въ немъ мало глубины и очень много внѣшности. Они затрагиваютъ въ своей живописи все, но по всему они только скользятъ. Много вкуса, но мало чувства. Часто превосходное тѣло, но безъ души и смысла. Эта односторонность, далеко не удовлетворяетъ меня и еще меньше ихъ скульптура. Тутъ они еще больше придерживаются старыхъ традицій. То, что дѣлалось въ прошломъ столѣтіи, дѣлается и понынѣ, и эта традиція мѣшаетъ имъ идти впередъ. Тѣ же аллегоріи, что были, та же мифологія, та же внѣшность во всемъ“. Однако, онъ считалъ французовъ гениальными по части исполненія и вкуса. Неудивительно, что М. М., не раздѣляя взгляда

французовъ на искусство, уединился въ своей мастерской. Дома онъ окружаетъ себя старинными вещами, въ особенности эпохи среднихъ вѣковъ. „Я въ нихъ черпаю духъ поэтической,—говорилъ онъ мнѣ;—онѣ помогаютъ мнѣ работать“. Въ свободное время отъ работы онъ занимается коллекціонерствомъ. Парижское искусство имѣетъ мало вліянія на М. М. Онъ беретъ отъ французовъ только то, что касается техники и исполненія. „Французы спрашиваютъ, какъ сдѣлано, а не что сдѣлано,—говорилъ онъ часто.—Ихъ скульптура граціозна, красива, ласкаетъ глазъ, но не одухотворена“. М. М. продолжаетъ работать все въ томъ же духѣ какъ и въ Італіи. Его новыя статуи носятъ тотъ же глубокий смыслъ какъ прежде. Всѣ онѣ полны мысли и поэзіи. Его „Спиноза“ весь погруженъ въ глубокую думу; его „Несторъ“ поразительно вѣрно передаетъ всю задумчивость, простоту и любовь къ труду смиреннаго монаха-историка; его „Не отъ міра сего“ олицетворяетъ кротость, смиреніе и всепрощеніе; его „Мефистофель“ отличается отъ всѣхъ статуй подобныхъ, сдѣланныхъ другими художниками: онъ не пугаетъ своимъ внѣшнимъ, ложно придуманнымъ чертовскимъ видомъ; не глупо злорадствуетъ, какъ это приято было изображать, а какъ человѣкъ умный, зорко слѣдившій за наукой, глубоко обдумываетъ свои замыслы противъ свѣта и правды. „Сестра милосердія“ реально представляетъ такъ часто встрѣчающійся типъ женскаго самопожертвованія. Всею душой, всѣмъ существомъ своимъ она предана дѣлу благотворенія и облегченія страданій. Во всѣхъ этихъ работахъ М. М. проводитъ философскую идею торжества духа и разума и борьбы противъ мрака и насилія; но борьбы не внѣшней, а внутренней, и хотя внѣшнимъ образомъ герои его побѣждены: Христосъ связанный, Сократъ, отравленный, Спиноза всѣми покинутый, мученица слѣпая,—но ихъ дѣло не покорено и не умерло. И въ

своей собственной жизни М. М. придерживался той же идеи: никакія непріятности, лишенія и печали не помѣшали ему заниматься своимъ до фанатизма любимымъ дѣломъ; точно все внѣшнее до него не касалось. Къ портретамъ М. М. не чувствовалъ особаго влеченія, хотя многіе его бюсты отличаются удивительнымъ сходствомъ: портретная статуя Полякова до того реальна и изумительно жизненна, что можетъ сравняться съ лучшими работами Гудона.

М. М.—а приглашаютъ на всѣ европейскія выставки. Въ Вѣнѣ, Мюнхенѣ, Берлинѣ, вездѣ, гдѣ появляются его работы, онѣ имѣютъ колоссальный успѣхъ: ему присуждаютъ высшія награды, его избираютъ членомъ всѣхъ академій. Слава его упрочена во всей Европѣ. Какъ не показать родинѣ-матери своей, то, чѣмъ восхищаются чужіе? Вѣдь эта всемірная слава, эта честь, которую ему оказывала Европа, все это принадлежитъ Россіи. И онъ вторично везетъ свои вещи въ Петербургъ. На этотъ разъ у него вещи болѣе близкія русскому сердцу: „Несторъ“, „Ермакъ“, „Ярославъ Мудрый“ и др. Забылъ М. М. свой неуспѣхъ восьмидесятаго года. Въ Парижѣ, вдали отъ русской жизни онъ не зналъ, что то, что въ восьмидесятомъ году только насаждалось, въ 1893 году уже выросло и расцвѣло. Проповѣдники національной розни усилились, выставку М. М.—а часть печати встрѣтила бранью и порицаніемъ. Газеты извѣстнаго ужъ тогда лагеря обрушились на Антокольскаго и ругали его какъ преступника, точно онъ своими статуями, своей дѣятельностью вредилъ Россіи. Любимый публикой фельетонистъ наиболѣе распространенной газеты, безъ стѣсненія писалъ, что случайно удалось бездарному жиду сдѣлать статую Ивана Грознаго и что Антокольскій всякими пройдохескими приемами достигъ извѣстности въ Европѣ. Время уже было такое, что истинно просвѣщенные люди не имѣли храбрости и силы возстать противъ всѣхъ замысловъ

этого новаго лагеря. Одинъ только В. В. Стасовъ какъ богатырь грудью защищалъ ни въ чемъ неповиннаго художника. Одинъ онъ воевалъ съ цѣлымъ роемъ комаровъ. Но одинъ въ полѣ не воинъ. Какъ разъ въ это время появилась въ одномъ изъ каррикатурныхъ журналовъ слѣдующая каррикатура: Антокольскій, облитый помоями, удаляется, а Стасовъ, Баярдъ въ рыцарскомъ одѣяніи, вонзаетъ пику въ грудь врага. Состояніе Антокольскаго было ужасное. Это видно изъ того письма, которое онъ помѣстилъ въ „Новостяхъ“ 10-го апрѣля 1893 г. Это письмо до такой степени характеризуетъ то время и положеніе Антокольскаго въ Россіи, что я считаю необходимымъ тутъ привести. Называется письмо „Послѣ выставки“.

„По поводу шума, поднятаго извѣстной газетой изъ моей выставки, мнѣ вспоминается одинъ эпизодъ, когда-то слышанный мною въ дѣтствѣ: однажды кому-то приснилось, что воры взломали дверь; со сна онъ закричалъ: „воры! Всѣ домашніе вскочили на ноги и начали кричать: „воры! гдѣ воры?“ Посыпались удары. Кто кричалъ, что воры его бьютъ, кто—что онъ крѣпко держать вора... и пошла овалка, шумъ и гамъ. Услышали сосѣди и начали стучать въ закрытыя ставни. Суматоха еще больше увеличилась... Наконецъ, кто-то догадался зажечь огонь, и зрителямъ представилась траги-комическая сцена всѣ стояли въ ночныхъ костюмахъ, уцѣпившись другъ за друга, а воръ?—вора, конечно, вовсе не было...“

„Не происходитъ ли что либо въ этомъ же родѣ и у насъ теперь, только въ колоссальныхъ размѣрахъ?.. Поймали вора! Причина всѣхъ бѣдъ... Ну, и—ату его!.. Кого? Меня. Да я то въ чемъ виновать?“

„Что я дурнаго сдѣлалъ кому-либо? Отнимаю ли у кого хлѣбъ, срамлю ли честь русскаго художества?..“

„Первый, кто подалъ мнѣ руку помощи, былъ русскій... Товарищи и друзья какъ въ академіи, такъ и

внѣ ея были русскіе... Создала мнѣ извѣстность и спасла жизнь—также русская. Чувствовалъ ли я тогда и давали-ль мнѣ чувствовать, что—еврей?! Нисколько!.. Мы всѣ были воодушевлены одною мыслью, всѣ стремились къ одной цѣли — любить свою родину и будить въ ней чувство добра. Съ этимъ чувствомъ уѣхалъ за границу; оно поддерживало меня многіе годы, и если на моихъ произведеніяхъ не отразилась та горечь, которую за послѣднее время мнѣ приходилось глотать въ столь большихъ дозахъ и такъ часто, то опять благодаря тѣмъ же добрымъ людямъ, тѣмъ же русскимъ, внушившимъ мнѣ то же, что и Спиноза: „проходить мимо человѣческаго зла, потому что оно мѣшаетъ служить идеѣ Бога“.

„Съ тѣхъ поръ прошло ровно двадцать лѣтъ... И Боже, какая перемѣна! вмѣсто единства—разъединеніе, вмѣсто мира — ссоры, вмѣсто любви къ ближнему — какое-то тупое, слѣпое озлобленіе.

„Я далекъ отъ полемики; она ни къ чему не ведетъ; мы и безъ того пресыщены желчью; наши нервы раздражены, мы готовы видѣть врага даже тамъ, гдѣ его вовсе нѣтъ... Мои „Сократъ“, „Христосъ“, „Спиноза“, Христіанская мученица“, „Несторъ“, „Послѣдній вздохъ“ не несутъ съ собой ни ссоры, ни вражды а Рах (что и начертано на табличкѣ въ рукахъ „Не отъ міра сего“), Рах, который такъ близокъ и родственъ добру и красотѣ...

„Дурно ли, хорошо ли, все-таки, надъ этими произведеніями я работалъ двадцать пять лѣтъ. Я отдалъ имъ лучшіе годы моей жизни. Но при какихъ обстоятельствахъ и въ какомъ душевномъ настроеніи я работалъ ихъ въ послѣдніе годы?.. Въ то время, когда гнулось желѣзо для „Ермака“, когда я лѣпилъ „Нестора“—шелъ погромъ за погромомъ, и, вмѣсто обязательнаго въ подобныхъ случаяхъ со стороны каждаго просвѣщеннаго человѣка сочувствія, мои родные и братья

встрѣчали одни лишь глумленія... Горькая чаща не миновала и меня.

„Я бросилъ читать газеты, сталъ избѣгать разговоровъ, заперся у себя въ мастерской; но и тамъ мнѣ было не легче... Мнѣ казалось, что я не хорошо поступаю, не то дѣлаю... Я чувствовалъ себя въ роли Риголетто,—пѣлъ, когда хотѣлось плакать. Писалъ къ друзьямъ—молчаніе; умолялъ заступиться, сказать свое авторитетное слово—отвѣта не было!..

„Но вѣра моя была сильна, сильнѣе моихъ терзаній. Я вѣрилъ и до сихъ поръ всей силой своей души вѣрю въ справедливое и доброе чувство русскаго народа. Я вѣрилъ, что причина всѣхъ столь печальныхъ и жестокихъ явленій—не въ тѣхъ русскихъ, которыхъ зналъ и знаю, а въ какихъ-то новыхъ, ненормальныхъ, чуждыхъ намъ прежде элементахъ, которые умѣютъ гнуться по направленію случайнаго вѣтра...

„И вотъ, наконецъ, мои работы за послѣднія 12 лѣтъ явились передъ судомъ русской публики. Я не могу пожаловаться на недостатокъ сочувствія; напротивъ, оказанное мнѣ сочувствіе превзошло всѣ мои ожиданія. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, изъ извѣстнаго лагеря съ озлобленіемъ обрушились на меня: ату его!.. И все это за то, что я еврей!

„Но развѣ я виноватъ въ томъ, что я — еврей? И что дурного въ томъ что я — еврей! Развѣ мои произведенія не доказываютъ, что я люблю Россію тысячу тысячъ разъ больше, чѣмъ тѣ, которые меня гонятъ только за то, что я еврей?! Развѣ все то, что я пережилъ, прочувствовалъ, всѣ мои радости и печали, все, что вложено въ мои произведенія, не отъ Россіи и не для Россіи?! Развѣ прибрѣтенное мною имя не принадлежитъ Россіи? Развѣ почести и награды, которыми удостоили меня разныя академіи, были даны мнѣ, не какъ русскому?

„Я не взялся бы за перо, если бы всѣ эти инси-

нуаціи и клеветы только касались меня... Меня очень мало затрагивают—мой мраморъ отъ этого не почернѣть, а волосы мои и безъ того уже бѣлѣютъ. Отъ людей, которые печатно глумятся и ругаются площадными словами,—просто сторонятся... Повторяю, не они меня интересуютъ, а почва, почва, на которой они живутъ и плодятся, публика, для которой они пишутъ и за которую они даже думаютъ...

„Вотъ почему я и позволю себѣ сказать слѣдующее:

„Многіе годы уже люди извѣстнаго лагеря издѣваются надъ моими работами, глумятся надо мной, надъ моимъ племенемъ, клеветаютъ и обвиняютъ меня при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ въ разныхъ небылицахъ: я „нахаль“, „трусъ“, „пролаза“, „гордецъ“, „рекламистъ“, „шантажистъ“, „получаю заказы нечистыми путями“, „получаю почетныя награды, благодаря жидовскимъ банкирамъ“, и т. д., и т. д... И при этомъ не замѣчаютъ, что, обвиняя меня, обвиняютъ шесть академій разныхъ странъ, членомъ которыхъ я имѣю честь состоять, и жюри двухъ международныхъ выставокъ, почтившихъ меня наградами“.

Но въ Парижѣ, какъ бы въ догонку, посыпались на него еще новые удары и неудачи. При разборкѣ вещей съ выставки сломали его любимую статую „Не отъ міра сего“. Можно себѣ представить, какъ извѣстіе это его поразило. „Положимъ, эта работа куплена“, пишетъ онъ, но кто меня вознаградитъ за мою душу, которую я вложилъ въ эту статую“. Къ его пущему огорченію Третьяковъ, которому принадлежала эта статуя, ни за что не согласился, чтобы Антокольскій сдѣлалъ новую и настаивалъ на томъ, чтобы ему отдали эту статую склеенную. Притомъ Антокольскій не имѣлъ права, по условію, ее повторить. „Не могу согласиться, чтобы это произведеніе осталось въ единственномъ видѣ въ безобразномъ видѣ“, пишетъ онъ изъ Парижа. „Къ черту съ матеріализмомъ, — говоритъ онъ въ слѣдующемъ



письмѣ.—Родители пристраиваютъ своихъ дѣтей, но не продаютъ ихъ. Когда я работалъ, менѣе всего я думалъ о деньгахъ. Охотно я отдамъ деньги назадъ, чтобы спасти мое произведеніе отъ вѣчнаго уродства“. Отголоски петербургской печати о выставкѣ, какъ серьезная болѣзнь, еще долго давали о себѣ знать М. М. „Здѣсь никого не вижу изъ русскихъ, — пишетъ онъ сейчасъ по возвращеніи въ Парижъ; — говоря вѣрнѣе никто изъ русскихъ не хочетъ меня видѣть. Причина ясная: здѣсь всѣ читаютъ только одну газету и не прочь вѣрить всему тому, что она на меня наговариваетъ. Кого встрѣчаю, тотъ смотритъ на меня съ недоумѣніемъ: дескать, здоровъ ли я, не съѣли ли меня въ Петербургѣ?.. Когда настанетъ всему этому конецъ?“ — Но недолго продолжается у художника это состояніе. Принявшись за работу, онъ всѣ обиды забываетъ, и уже черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, рассуждая объ искусствѣ, онъ высказываетъ въ письмѣ ко мнѣ слѣдующіе взгляды: „Развѣ искренно влюбленный спрашиваетъ себя, съ чего онъ будетъ жить? А если спрашивается, то любовь его не юная, а запоздалая. Надо раньше всего не думать о послѣдствіяхъ, а начать работать, увлекаться сильно, страшно полюбить ее, бороться за нее, отстаивать со всей своей силой души, выдерживать испытанія, невзгоды. Тогда только, тогда творчество будетъ плодъ твоего душевнаго состоянія; оно будетъ цѣльное, какъ выкованное изъ одного куска желѣза“. Это онъ писалъ въ то время, когда его денежные дѣла были въ очень плохомъ состояніи. Неуспѣхъ выставки 1893 г. въ Петербургѣ сильно отражался на его матеріальномъ положеніи: изъ Россіи стали меньше къ нему обращаться съ заказами. Въ это время опять выплываетъ наружу вопросъ о постановкѣ конныхъ статуй на мосту. Правительство не прочь заказать эти статуи Антокольскому, но нашлись доброжелательные люди, которые вмѣшались въ это дѣло и

разстроили этотъ заказъ. Еще болѣе раздражало Антокольскаго то, что за всѣ эти 25 лѣтъ ему не удалось воздвигнуть ни одного общественнаго памятника, въ то время какъ всѣ художники, и малые и незначительные, исполняли подобные заказы. Правда, со времени конкурса на памятникъ Пушкину (1876 г.), когда его оригинальнѣйшій, чудесный проектъ провалился, М. М. пересталъ участвовать въ конкурсахъ, и не потому, что онъ ихъ боялся или что зазнавался, а по принципу, по всѣмъ извѣстнымъ причинамъ, что конкурсы въ томъ видѣ, въ какомъ они существуютъ, нелѣпы и не достигаютъ своей цѣли. Объ этомъ уже писалось много въ Европѣ, и негодность конкурсовъ многимъ уже доказана. Но и неучастіе его не должно было людямъ, искренно любящимъ искусство, помѣшать обратиться къ тому скульптору, работы котораго говорятъ сами за себя. И вотъ проходитъ нѣсколько десятковъ лѣтъ, М. М. видитъ, какъ вездѣ наставлены памятники, между ними многіе плохіе, а ему ничего не поручаютъ, а скорѣе мѣшаютъ. „Мои враги,—пишетъ онъ мнѣ въ 1897 г., какъ нарывы: выдавишь ихъ въ одномъ мѣстѣ, они выскочутъ въ другомъ. А я усталъ бороться съ ними. На это уходитъ все мое здоровье, и я рѣшился разъ навсегда выяснить мое положеніе. Я вижу, что отъ меня хотятъ закрыть всѣ дороги, но безъ боя не дамъ проглотить себя. Мнѣ не предлагаютъ работы; мои работы стараются отнимать. Я закаленъ въ бою. Мнѣ всю жизнь приходится работать точно въ чужомъ станѣ. Но тѣмъ лучше: моя совѣсть спокойна, моя честь чиста. Мой мраморъ твердъ и бѣлъ; проглотить его будетъ трудно моимъ, хотя бы и многочисленнымъ врагамъ“.

Въ послѣдніе годы своей жизни М. М. лѣпилъ неболышія вещи: „На перепутьи“, „Ундина“, „Спящая красавица“—замѣчательно граціозныя, красивыя и поэтическія вещи, которыя петербургская публика еще

не видала. Мечталъ М. М. издать всѣ свои работы въ малой величинѣ. Хотѣлось ему собрать всѣ свои вещи и сдѣлать выставку передвижную по Европѣ. Но для этого надо было потратить много денегъ, времени и силы, но ни того ни другого, ни третьяго уже у него не хватало. Незадолго до своей смерти М. М., задумалъ цѣлый циклъ новыхъ вещей, подъ названіемъ „Всемирная трагедія“. Онъ долженъ былъ состоять изъ трехъ горельефовъ и одной группы. 1) нападеніе европейцевъ на варваровъ; 2) нападеніе язычниковъ на христіанъ; 3) нападеніе инквизиціи на евреевъ. Въ заключеніе группа „Помирились“: два врага, обнявшись, лежатъ мертвыми. Изъ этихъ вещей онъ успѣлъ только наполовину сдѣлать „Инквизицію“, и заключительное слово этой трагедіи: „Помирились“, онъ какъ бы самъ выразилъ преждевременной своей кончиной. Крупнѣйшія работы М. М. находятся въ музеяхъ и у частныхъ лицъ. Было бы желательно, чтобы всѣ его работы были собраны вмѣстѣ, въ одномъ помѣщеніи, и тогда еще болѣе ясенъ будетъ весь обликъ этого замѣчательнаго художника.

### **Послѣдніе дни жизни М. М. Антокольскаго.**

Въ началѣ іюня 1902 г. я получилъ коротенькое письмо отъ М. М. и это было его послѣднее письмо. Онъ писалъ: „Я очень боленъ, ѣду въ Берлинъ, посоветуюсь тамъ съ докторомъ и, куда онъ меня пошлетъ, туда поѣду; пріѣзжай вмѣстѣ поживемъ, и тебѣ надо отдохнуть“. Въ Берлинѣ черезъ нѣсколько дней я получилъ телеграмму: „Находимся во Франкфуртѣ, Паластъ-отелѣ, боленъ“. Съ первымъ поѣздомъ я уѣхалъ во Франкфуртъ и тамъ меня встрѣтила на лѣстницѣ Елена Юльевна, — разстроенная и со слезами на гла-

захъ. Она разсказала мнѣ, что М. М.—чу очень плохо, что онъ такъ разстроенъ, что и говорить не можетъ: ему нуженъ абсолютный покой. Проф. Норденъ, который былъ рекомендованъ ей др—омъ Шершевскимъ изъ Петербурга и др—омъ Ціономъ изъ Парижа, подробно выслушавъ больного, не нашелъ въ немъ никакой опасной и серьезной болѣзни, а только полный упадокъ силъ и разстроенные нервы, лѣчить онъ не лѣкарствомъ, а только усиленнымъ питаніемъ. „Я хотѣла созвать консиліумъ,—сказала плача Елена Юльяновна,—хотѣла вызвать изъ Берлина доктора, но Норденъ не хочетъ: онъ говоритъ, что это бесполезно, болѣзнь будто не серьезная. Бѣдный мой мужъ,—продолжала, совсѣмъ разрыдавшись, Е. Ю.,—онъ въ послѣднюю зиму такъ много работалъ, не жалѣя себя, что окончательно растратилъ и безъ того слабыя силы; въ особенности, я думаю, ему повредило то, что онъ, въ свободное время отъ усиленной работы въ мастерской, долго писалъ, забывая сонъ и ѣду. Я и дѣти умоляли его оставить писаніе на другое время, когда у него будетъ меньше работы въ мастерской, но онъ такъ увлекался, что никто не могъ уговорить его хоть минутку отдохнуть“.

На слѣдующій день меня, наконецъ, впустили къ М. М. Его больной видъ меня поразилъ; онъ былъ неузнаваемъ: страшно похудѣвшій, онъ имѣлъ земляной цвѣтъ лица, впалые глаза смотрѣли тускло. Поздоровавшись со мною и разспросивъ нѣсколько о петербургскихъ друзьяхъ своихъ, онъ сталъ жаловаться на здоровье и на доктора, который заставляетъ его много ѣсть. „Меня кормятъ каждые два часа, и это меня убиваетъ: я не могу ѣсть, у меня боли въ желудкѣ. Ахъ, какъ-бы только поскорѣ поправиться на столько, чтобы можно было-бы отсюда уѣхать; я тогда поѣду въ Швейцарію, вмѣстѣ тамъ проживемъ въ моей виллѣ“,—сказалъ онъ тихо, съ трудомъ произнося всякое слово.

Въ этотъ-же день я разспросилъ о болѣзни М. М. самого доктора Нордена, который подтвердилъ, что болѣзнь не угрожаетъ жизни, что хорошимъ, усиленнымъ питаніемъ и отдыхомъ онъ скоро поставитъ на ноги больного. То-же сказала мнѣ сестра милосердія, очень аккуратно исполнявшая всѣ предписанія доктора; она еще прибавила: „Больной воображаетъ, что онъ не можетъ ѣсть, надо его заставить ѣсть, чтобы поднять его силы“.— „Нѣтъ-ли у него рака въ желудкѣ?“—спросилъ я.— „Нѣтъ, —увѣренно отвѣтила сестра, — изслѣдованія не показали присутствія рака“.

Елена Юльяновна страшно беспокоилась насчетъ дѣтей, которыхъ она оставила однихъ въ Парижѣ нездоровыми.—Я обѣщался съѣздить на нѣсколько дней въ Парижъ съ тѣмъ, чтобы, вернувшись, остаться съ больнымъ и ее отпустить къ дѣтямъ. Передъ самымъ отъѣздомъ я опять поговорилъ съ профессоромъ Норденомъ и спросилъ, могу ли я спокойно уѣхать, или, онъ считаетъ положеніе больного критическимъ, то не лучше-ли мнѣ оставаться пока еще здѣсь съ больнымъ. „Поѣзжайте себѣ спокойно, —отвѣтилъ очень сухо профессоръ. Я вамъ уже сказалъ, что болѣзнь не опасная, —лучше, чтобы съ нимъ не говорили“.— „Можетъ быть, вы напишете д-ру Шершевскому въ Петербургъ о болѣзни М. М., —спросилъ я.— Шершевскій личный другъ М. М. и давно знаетъ его организмъ“. „Напишу черезъ нѣсколько дней“, —неохотно и строго возразилъ Норденъ.

Прощаясь со мною М. М. сказалъ:

„Поѣзжай, посмотри Salon и найди ко мнѣ въ мастерскую, посмотри, какъ я началъ „Инквизицію“. Знаешь, вѣдь я теперь задумалъ цѣлый циклъ новыхъ вещей, подъ названіемъ: „Всемирная трагедія“. Это будетъ три огромныхъ горельефа: 1) нападеніе культурныхъ народовъ на варваровъ, 2) нападеніе язычниковъ на первыхъ христіанъ и 3) нападеніе инквизиціи на евреевъ:

въ заключеніе я сдѣлаю большую группу подъ названіемъ „Помирились“: два врага въ борьбѣ лежатъ обнявшись, мертвые. Я это давно уже задумалъ и надѣюсь, что когда я это сдѣлаю, всѣ меня поймутъ; тогда въ этотъ циклъ войдутъ и другія старыя мои работы. Впрочемъ, ты самъ увидишь; пріѣдешь — скажешь, какъ тебѣ понравилось“.

Въ Парижѣ я остался меньше, чѣмъ полагалъ, потому что извѣстія по телефону, которыя получала младшая дочь отъ матери о болѣзни М. М., были не утѣшительныя; но я обстоятельно успѣлъ осмотрѣть и Salon, и мастерскую М. М. Я увидѣлъ и эскизъ „Нападеніе язычниковъ на христіанъ“, въ первоначальномъ, еще не обработанномъ видѣ, а также „Нападеніе инквизиціи“, уже начатое въ настоящей большой величинѣ. Хотя М. М. придерживался въ „Инквизиціи“ стараго эскиза, сдѣланнаго еще въ концѣ 60-хъ годовъ, однако, тутъ въ новомъ много измѣнено и все къ лучшему; четыре раза онъ мѣнялъ композицію въ этой замѣчательной работѣ, и всѣ эскизы превосходны. Это—послѣднее соизданіе, надъ которымъ мыслить и чувствовалъ великій талантъ. Заодно я осмотрѣлъ и другія работы, и нашелъ много новаго. Замѣчательны эскизы его: Самсонъ, Микель-Анджело, дѣвушки у окна и другіе эскизы, въ высшей степени выразительные и полные высокихъ чувствъ. Когда я вернулся во Франкфуртъ, то нашелъ М. М. еще въ худшемъ видѣ; кромѣ прежней худобы и истощенности, онъ былъ желтый отъ разлитія желчи; глаза въ особенности были ужасны, совершенно впалые и желтые.

„Вотъ что со мной дѣлаютъ,—жаловался онъ мнѣ,—даютъ ѣсть, когда не могу, и добились того, что теперь у меня печень заболѣла; въ особенности мучаютъ меня тѣмъ, что пить не даютъ — я изнемогаю отъ жажды, только позволяютъ куски льда держать во рту, но знаешь, я контрабандою глотаю капли отъ льда“.

Я посовѣтовалъ вызвать изъ Вюрцбурга знаменитаго д-ра Лебе, но Норденъ настаивалъ на томъ, чтобы поскорѣе переѣхать въ Гомбургъ, гдѣ воздухъ лучше, да притомъ долѣе оставаться въ Паласть-отелѣ нельзя было, такъ какъ отель переѣзжалъ въ новое помѣщеніе. Никогда я не забуду нашего переѣзда! Елена Юльяновна одѣвала М. М., глотая слезы, боясь показать больному свое горе. Я помогалъ укладывать вещи. Надо было спуститься внизъ, я предлагалъ руку М. М.

„Не надо,—сказалъ онъ тихо,—хочу посмотрѣть, въ состояніи ли я ходить одинъ“, но тутъ, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, онъ взялъ руку Е. Ю., сердито сказавъ: „Вотъ что сдѣлалъ докторъ; пріѣхалъ я бодрый, а теперь не могу шагу сдѣлать“.

Когда мы усаживались въ карету, я съ ужасомъ разглядѣлъ при полномъ свѣтѣ ужасный видъ больного: онъ походилъ на мертвеца и всѣ на улицѣ останавливались и, глядя на больного, качали головою.

Это не ускользало отъ вниманія М. М. и расположе- ніе его духа сдѣлалось еще болѣе мрачнымъ. Напрасно Е. Ю., которая сама была внѣ себя отъ волненія, утѣшала его всю дорогу.

Въ Гомбургѣ мы помѣстились въ 3-хъ комнатахъ и тутъ-же Елена Юльяновна посадила М. М. въ *chaise-longue* на балконѣ.

„Ахъ, сколько тутъ воздуха!—сказалъ онъ,—можетъ быть, я отъ воздуха поправлюсь“.

Но на слѣдующее утро ему стало опять хуже. Былъ разговоръ о томъ, чтобы привезти младшую дочь, которая осталась совершенно одна въ квартирѣ въ Парижѣ и страшно скучала по родителямъ (старшая, замужняя жила въ S. Germain).

Рѣшено было, чтобы Е. Ю. уѣхала въ Парижъ, а пока я остался при больномъ. Часто я сидѣлъ съ нимъ, утѣшая его, но я видѣлъ, что больному все хуже и лѣченіе не идетъ ему впрокъ.

Разспрашивалъ я какъ главнаго доктора Нордена, такъ и его помощника (гомбургскій врачъ) о здоровьѣ М. М., и тутъ Норденъ мнѣ сознался, что положеніе больного опасное; „но онъ вынесетъ все, потому что натура у больного замѣчательно крѣпкая“,—спокойно прибавилъ докторъ. Елена Юльяновна поторопилась и черезъ день вернулась, но безъ дочери, которая, нехорошо себя чувствуя, отложила свой прїѣздъ на нѣсколько дней; и она нашла положеніе М. М. въ худшемъ видѣ.

„Непремѣнно сейчасъ послать за другимъ докторомъ,—закричала она въ другой комнатѣ,—Лѣбе позвать! Телефонуйте Нордену, пусть онъ назначить консиліумъ!“ Но Норденъ, явившись, объявилъ, что онъ не согласенъ вызвать Лѣбе и почему-то объ этомъ спросилъ у М. М., который отвѣтилъ: „Прошу васъ, докторъ, дѣлайте, какъ сами знаете, и если не находите нужнымъ позвать другого доктора, то не дѣлайте этого“. — „Почему вы это говорите, М. М.,—спросилъ я по-русски,—вѣдь мы порѣшили уже непремѣнно позвать Лѣбе.—Нѣтъ, пускай онъ дѣлаетъ, какъ самъ знаетъ,“—отвѣтилъ М. М.—ты знаешь, что хорошій докторъ это то-же, что хорошій художникъ: надо, чтобы онъ самъ довелъ до конца свое дѣло, и если онъ найдетъ нужнымъ позвать помощника или товарища, то это его дѣло“.

Профессоръ порѣшилъ подождать съ Лѣбе до завтра, но завтра — уже было поздно. Съ утра у больного появилась усиленная рвота.

„Пожалуйста,—сказалъ мнѣ М. М.,—напиши скорѣе Шершевскому въ Петербургъ, опиши ему мою болѣзнь, объясни, какъ меня лѣчатъ. Онъ меня знаетъ, онъ мнѣ другъ, пускай онъ скажетъ, что со мной. Боюсь, что Норденъ ошибается, онъ меня не понялъ. Видишь, какъ онъ самъ теперь смущенъ“.

Вмѣсто письма, я, по просьбѣ Е. Ю., телеграфиро-



валъ родственницѣ въ Петербургѣ, прося сообщить, гдѣ М. М. Шершевскій, котораго Е. Ю. хочетъ пригласить въ Гомбургъ. Отвѣтъ получился неблагопріятный: не знали, куда Шершевскій уѣхалъ. Положеніе М. М. съ часу на часъ ухудшалось, однако, онъ настолько былъ увѣренъ въ своемъ выздоровленіи, что просилъ Е. Ю. сходить осмотрѣть новую квартиру и, увидѣвъ ее уходящею, дѣлалъ ей прощальные знаки рукою. Вечеромъ докторъ, къ моему удивленію, отозвалъ меня въ сторону и сказалъ: „Случился поворотъ къ худшему—больному не хорошо, телеграфируйте дочерямъ, чтобы пріѣхали, а женѣ не говорите, она растроена, отъ нея надо пока скрывать“.

До послѣдней минуты своей жизни М. М. былъ въ полномъ сознаніи. „Видишь, — сказалъ мнѣ М. М., крѣпко сжимая мою руку, — вотъ чего добились доктора“.

Жена М. М. не отходила отъ постели больного; она все надѣялась на консультацію и велѣла послать телеграмму Лѣбе. Съ больнымъ вдругъ случился обморокъ, рвота стала учащаться. Докторъ (гомбургскій) не отходилъ отъ больного; велѣлъ дать больному шампанскаго, дѣлалъ подкожное впрыскиваніе камфорою. Я чувствовалъ приближеніе конца и страшно мнѣ стало въ эти ужасныя минуты. „Спать хочу“,—слабо произнесъ умирающій.—„Дайте ему спать“,—умоляющимъ голосомъ сказала Е. Ю.; она крѣпко держала руку М. М. и постоянно цѣловала и ласкала его. Докторъ отозвалъ меня въ сторону и сказалъ: „Пульса нѣтъ, онъ умираетъ“.

Докторъ слушаетъ сердце, даетъ нюхать спиртъ больному и дѣлаетъ мнѣ знакъ.

„Нѣтъ, онъ заснулъ“,—кричитъ Е. Ю. Я цѣлую руку великаго учителя! И вотъ онъ спитъ.

„Докторъ, дайте ему что-нибудь, чтобы онъ проснулся!“—продолжаетъ кричать совершенно уже обезумѣвшая вдова.

32 года тому назадъ М. М. взялъ меня, неизвѣстнаго ему мальчика, изъ его родины въ Петербургъ—хотѣлось ему, чтобы и я питался той духовной пищей, которая была для него священной. Теперь на мою горькую долю выпала судьба везти его въ Петербургъ, увы, не живого, но гениальная его душа вылита уже въ его творенiяхъ, она не умерла; пускай и тѣло его будетъ тамъ, гдѣ отразилась его великая душа!

---

## Стасовъ у Толстого.

### I.

Нѣсколько разъ прїѣзжалъ я въ Ясную Поляну вмѣстѣ съ Вл. Вас. Стасовымъ. Оставались мы по нѣскольку дней, а затѣмъ уѣзжали. Врѣзался у меня въ памяти послѣдній нашъ прїѣздъ. Это было въ 1904 году, въ срединѣ августа. Вл. Вас. почти предчувствовалъ, что онъ больше не увидится съ обожаемымъ Л. Н.

Мы прїѣхали вечеромъ, прямо къ обѣду. Графиня С. А. и Л. Н. выскочили изъ-за стола и обнялись съ В. В. Насъ усадили обѣдать. Вл. Вас. сѣлъ возлѣ графини С. А., а я — между Л. Н. и какимъ-то незнакомцемъ.

— Вы не знаете его? Это художникъ Орловъ, —отрекомендовалъ мнѣ его Л. Н. —Вы, вѣроятно, видали его работы.

И тутъ же болѣе тихимъ голосомъ сказалъ мнѣ:

— Это замѣчательный художникъ.

Начались оживленные разговоры, и всѣ съ особеннымъ вниманіемъ слушали интересные рассказы Вл. Вас. о приключеніяхъ во время его путешествія. Вл. Вас. былъ въ ударѣ, и рассказы были такъ интересны, что всѣ смѣялись.

— Смотрю я на васъ и люблюсь вами, —сказалъ Л. Н. —Какой вы бодрый, веселый и юный еще!

И Л. Н. началъ шутить и, въ свою очередь, рассказывать намъ одинъ смѣшной анекдотъ.

Послѣ обѣда разбрелись, одни писать для Л. Н., а другіе по своимъ дѣламъ. Мы остались съ Л. Н., и разговоры велись серьезные по разнымъ вопросамъ. Какъ въ прошлые годы, Л. Н. говорилъ о вѣрѣ и всѣ неудачи и недостатки общественной жизни, объяснялъ однимъ невѣріемъ.

— А что вы теперь пишете?—спрашиваетъ В. В.

— Да вотъ работаю надъ большимъ календаремъ съ изреченіями. Кончаю другія вещи, пишу и о Шекспирѣ. Не знаю, напечатаю ли это теперь. Пускай это появится послѣ моей смерти, и потомъ меня ругаютъ и бранятъ.

И Л. Н. началъ излагать уже извѣстный теперь взглядъ на Шекспира. Осторожно и мягко пробовалъ В. В. защищать Шекспира отъ жестокихъ порицаній Л. Н., но Л. Н. не только не уменьшалъ свои порицанія, но всякій разъ еще сильнѣе ихъ выражалъ. Признаться, я опасался, чтобы споръ не обострился. Мои опасенія раздѣлялъ и мой сосѣдъ—литераторъ Сергѣенко, который позвалъ меня играть въ шахматы, но я однако остался сидѣть. Хотѣлось мнѣ услышать мотивы нападенія на признаннаго генія. Какъ я понялъ, Л. Н. ставилъ Шекспиру въ вину главнымъ образомъ то, что *Шекспиръ не любилъ простаго народа, что онъ сочувствовалъ высшимъ классамъ и что вообще Шекспиръ былъ поклонникъ аристократизма.*

— Я читалъ въ подлинникѣ эти новеллы, откуда Шекспиръ черпалъ свои сюжеты, и все это не такъ. Въ новеллахъ чрезвычайно много дѣйствительно интереснаго и правдиваго, а Шекспиръ не такъ воспользовался матеріаломъ. Многое очень важное и красивое онъ пропустилъ.

Однако, споръ не принялъ угрожающихъ размѣровъ, перейдя на другія темы.

Поздно ночью мы ушли къ себѣ. Вл. Вас. мнѣ сказалъ:

— Какой Л. Н. бодрый, веселый и юный еще, а насчет Шекспира я ему еще выскажу мое мнѣніе. Пусть онъ знаетъ, что я не могу согласиться съ нимъ.

Мы спали въ той комнатѣ, которая когда-то была рабочей комнатой Л. Н.

Въ этой комнатѣ я въ первый разъ лѣпилъ Л. Н. въ 1891 году. Сводчатый потолокъ, на которомъ вбиты желѣзные крючки, маленькія окна съ желѣзными рѣшетками, старинная мебель—все это, какъ и въ первый разъ, произвело на меня особенное впечатлѣніе. Утромъ мы не успѣли еще одѣться, и уже прибѣжалъ Л. Н., бодрый.

## II.

— Ну какъ спали? Не беспокоили ли васъ мухи? А я припомнилъ имя автора, о которомъ вчера рассказывалъ вамъ,—обратился Л. Н. къ Вл. Вас.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ, Л. Н. утромъ выпивъ свой кофе, рано уходитъ къ себѣ работать, и ужъ такъ до вечера трудно съ нимъ говорить. Урывками онъ является и днемъ, но не на очень долго. В. В. слѣлъ писать письмо. За завтракомъ было мало разговоровъ а послѣ чая мы смотрѣли, какъ Л. Н. собирается верхомъ поѣхать въ городъ. Вл. Вас. съ особеннымъ удовольствіемъ разсматривалъ лошадь Л. Н. и восхищался кавалерійской посадкой Л. Н.

— Какъ сидить-то на лошади,—настоящій кавалеристъ!

Вечеромъ собираются всѣ въ верхній залъ, и тутъ начинается общая жизнь.

Все, что происходило и передумалось въ теченіе дня, сообщается.

Послѣ обѣда Л. Н. бесѣдовалъ опять съ В. В. Стасовымъ. Л. Н. прочелъ нѣкоторыя мѣста изъ Герцена.

— Что это былъ за умъ, острый и глубокій!—сказалъ Л. Н.—Какъ онъ вѣрно и мѣтко поражае враговъ

своих! Отъ его талантливаго пера жутко доставалось его врагу. А пойдите, какъ онъ въ немногихъ словахъ отмѣтилъ характеръ двухъ Императоровъ.

И Левъ Николаевичъ сталъ наизусть приводить избранныя мѣста изъ сочиненія Герцена. Вл. Вас. весь сіялъ отъ восторга. Онъ въ свою очередь, припомнилъ нѣкоторыя мысли и изрѣченія великаго публициста.

Точно въ перегонку, эти два старца хвастались знаніемъ и пониманіемъ Герцена, и пріятно было видѣть какъ въ этомъ вопросѣ они совершенно сошлись. Л. Н. читалъ намъ изрѣченія французскаго писателя моралиста XVIII вѣка. Заговорили о современныхъ писателяхъ. Л. Н. особенно любитъ Чехова, а о другихъ писателяхъ онъ отзывался такъ:

— Въ сущности, всѣ теперь прекрасно пишутъ. Умѣнье писать удивительное; у всѣхъ красивый, художественный слогъ.

— Какъ онъ любитъ Герцена: самъ онъ зналъ его, знаетъ и цѣнитъ,—сказалъ Вл. Вас., когда мы спустились внизъ.

— Да, Герценъ и Толстой—крупнѣйшія величины; въ моей жизни нѣтъ выше этихъ двухъ геніевъ.

Долго Вл. Вас. не могъ успокоиться, припоминалъ все то, что говорилъ Л. Н.

— Все то, что вижу и слышу здѣсь, такъ важно, такъ цѣнно, что хотѣлось бы еще долго оставаться здѣсь. Скверно одно, что графиня больна. (Она была простужена: у не былъ гриппъ).

— Вы спите?

Это Стасовъ сказалъ черезъ нѣкоторое время.

— Знаете ли, что я придумалъ? Вѣдь мы рѣшили послѣзавтра уѣхать. Такъ вотъ я попрошу Л. Н., чтобы онъ прочелъ намъ что-нибудь изъ своихъ новыхъ вещей. Помните, въ прошломъ году я просилъ, и онъ исполнилъ. Какъ онъ читаетъ! Помните? Божественно хорошо! Такъ вы согласны?

III.

На слѣдующій день, во время утренняго кофе Вл. Вас. просилъ Л. Н. прочесть что нибудь.

— Хорошо, вечеромъ, во время чая, прочту.

Въ этотъ послѣдній день Л. Н. почти все время послѣ завтрака провелъ съ нами. Втроемъ мы гуляли днемъ въ паркѣ. Л. Н. разсказалъ главное содержаніе повѣсти „Хаджи Муратъ“ и др.

— Надо мнѣ торопиться кончать нѣкоторыя и другія работы,—вдругъ, нѣсколько остановившись, сказалъ Л. Н., глядя внизъ, а затѣмъ, поднявъ свои глаза на Вл. Вас., посмотрѣвъ на него своимъ добрымъ и глубокимъ взлядомъ, сказалъ:

— Да, Вл. Вас., намъ надо приготовиться теперь. Намъ скоро ожидаетъ пріятный конецъ.

— Какой?—спросилъ В. В.

— Да вотъ смерть! Я увѣренъ, и вы ее ждете.

— Чортъ бы ее побралъ!—вдругъ неожиданно вскрикнулъ В. В.—Мерзость, пакость, да еще готовиться къ ней. Я часто плохо сплю, ворочаюсь въ постели, какъ подумаю, что придется умереть.

— Однако вы чувствуете же старость, приближеніе конца?

— Ничего не чувствую, ни въ чемъ себѣ не отказываю, какъ прежде, и надѣюсь, что и вы, Л. Н., ни въ чемъ себѣ не отказываете. Вотъ ѣздите верхомъ, играете въ laun-tennis и др.

Несмотря на серьезность вопроса, я не могъ удержаться отъ смѣха. Стасову было тогда 80 лѣтъ. Его мощная, крупная фигура дышала жизнью энергіею, и здоровьемъ. Онъ шелъ быстро, держа шляпу въ рукахъ, такъ какъ всегда чувствовалъ жаръ въ головѣ. Л. Н. хотя и былъ моложе В. В., но казался старше.

„Какъ различны у нихъ взгляды на жизнь,—подумалъ я,—но какъ одинаково они ее любятъ и цѣнятъ“.

— Меня мучить одинъ вопросъ,—обратился я къ Льву Николаевичу.—Могутъ ли люди познавать добро и установить между собою хорошія отношенія помимо вѣры? Мнѣ кажется,—сказалъ я,—что есть и другіе пути, которые ведутъ къ сознанію, что добрыя отношенія между людьми необходимы и важны. Часто люди мало вѣрующіе, однако, не только творятъ добро, но исполняютъ эту идею добра точно такъ, какъ вы это дѣлаете.

Я назвалъ двухъ близкихъ Льву Николаевичу людей: Кропоткина и Стасова, которые, обожая Л. Н. и совершенно согласуясь съ его взглядами о благѣ и добрѣ, однако, избрали другіе пути для объясненія этого блага.

— Нѣтъ, путь одинъ,—отвѣтилъ Л. Н.—И это—вѣра. Тѣхъ, которыхъ вы мнѣ называли, я, дѣйствительно, люблю, но считаю, что одинъ, дѣлая добро, бессознательно вѣруетъ, а другой, я думаю, еще придетъ къ вѣрѣ.

На этомъ кончился нашъ разговоръ по этому вопросу. Л. Н. сталъ спрашивать меня, что я дѣлаю, какія у меня работы.

— А лѣпите вы животныхъ?

— Лѣпилъ, но мало.

— Какое это чудное искусство и какое важное! Въ особенности, если выразить то сочувствіе, которое люди должны питать къ животнымъ. Я видѣлъ замѣчательную картину, которая убѣдила меня, какъ высоко бываетъ искусство, когда оно выражаетъ любовь, все равно, въ комъ эта любовь ни проявилась бы. Собака стоитъ на берегу съ поджатымъ хвостомъ и смотритъ вдаль, гдѣ виденъ удаляющійся корабль. Страшная тоска и боль чувствуются во всей фигурѣ собаки, которая оставлена своимъ хозяиномъ. Впечатлѣніе страшное, и чувство жалости къ животному неотразимое.

Я рассказалъ Льву Николаевичу, что я видѣлъ недавно въ Парижѣ, въ „Салонѣ“, группу „Друзья“ (les



amis). Обезьяна ищетъ у собаки. Собака прижалась къ своему другу, и ей такъ пріятно, что она зажмурила глаза и вся съежилась. Чувство дружбы поразительно выражено въ этой группѣ. Л. Н. это понравилось, и, придя домой, онъ всѣмъ это разсказалъ.

#### IV.

Мы подошли къ забору сада.

— Стойте, — сказалъ Л. Н. — Тутъ, въ кустахъ долженъ быть проходъ. Отсюда мы ближе попадемъ въ садъ.

И, расправивъ кусты, онъ показалъ мнѣ довольно глубокой ровъ.

— Осторожно! — говорилъ Л. Н. — Темно, а подъемъ наверхъ очень крутой.

Съ трудомъ я взобрался наверхъ и предложилъ руку Л. Н., чтобы помочь ему.

— Нѣтъ, не надо. Я привыкъ. Каждый день перелѣзаю это мѣсто.

И молодецки, какъ юноша, онъ спрыгнулъ внизъ и съ особенною легкостью взобрался наверхъ. Мы вышли на большую аллею. Стало свѣтлѣе.

— Это самая старая аллея, любимое мѣсто моихъ предковъ. Тутъ бабушка и дѣдушка гуляли.

Мы приблизились къ дому.

Послѣ чая мы съ нетерпѣніемъ ждали обѣщаннаго. Л. Н. принесъ изъ своей комнаты тетрадку. В. В. сѣлъ возлѣ него. Софья Андреевна, все еще больная, сидѣла въ своемъ углу у круглаго столика и что-то вышивала. Другіе сидѣли въ противоположномъ углу зала, занимаясь наклеиваніемъ изреченій для календаря, который писалъ Л. Н. Нѣкоторые остались за столомъ. Я сѣлъ возлѣ Л. Н., намѣреваясь зачертить его во время чтенія. Л. Н., начавъ читать, скоро остановился.

— Не разбираю я своего почерка. Пусть кто-нибудь другой прочтетъ.

Онъ передалъ тетрадку своей дочери, но она не очень легко читала, хотя больше всѣхъ знала почеркъ отца. Тогда Л. Н. опять попросилъ тетрадку и сталъ читать.

Не о Шекспирѣ, не изреченія, а читалъ онъ вещь изъ жгучей жизни, съ первыхъ же словъ захватывающимъ образомъ подѣйствовавшую на насъ. Моментами рассказъ былъ до того поразителенъ, что я долженъ былъ перестать рисовать. Карандашъ вываливался изъ рукъ. Въ залѣ было гробовое молчаніе, и всѣ, притаивъ дыханіе, слушали.

## V.

Генераль-губернаторъ сидитъ въ кабинетѣ и читаетъ просьбу о смягченіи участи несчастнаго заключеннаго. Просьба матери до того трогательна, что генераль колеблется: моментами у него является борьба, — но побѣждаетъ суровое рѣшеніе. Эта борьба выражена съ такой силой, съ какой только въ состояніи выразить этотъ великій мастеръ.

Подписавъ приказы, генераль уходитъ къ себѣ, гдѣ жена и гости ведутъ свѣтскіе разговоры. Мужъ-генераль хочетъ говорить съ прокуроромъ о заключенномъ, но жена мѣшаетъ:

— Я запрещаю здѣсь вести дѣловые разговоры.

Она старается развеселить ихъ. Всѣ хохочутъ. Отъ смѣха у генерала болтается орденъ на груди. Подробности въ описаніяхъ—это перлы художественности.

Слѣдующая картина—комната матери несчастнаго заключеннаго. Она узнаетъ, что сына осудили на смерть. Она въ безуміи рвется изъ дома, хочетъ куда-то бѣжать, просить. Знакомые и докторъ ее удерживаютъ, даютъ ей капли, и она въ изнеможеніи падаетъ.

Тюрьма.

Жизнь заключеннаго, молодого, красиваго, образованнаго юноши. Ему сообщаютъ о смертномъ приговорѣ. Онъ не вѣритъ и не понимаетъ, за что.

У Льва Николаевича является дрожь въ голосѣ. Глаза его наполняются слезами. Всѣ еще болѣе опустили голову и съ затаеннымъ дыханіемъ мучительно слушаютъ. Моя сосѣдка часто и тяжело вдыхаетъ.

Описываются послѣднія минуты жизни, не помышлявшаго о смерти, юноши, священникъ, эшафотъ и публика, которая, всматриваясь въ лицо идущаго на эшафотъ, видитъ, что онъ идетъ бодрый и веселый.

Другая картина—сосѣдняя камера въ тюрьмѣ. Раскольникъ терзается мыслью объ осужденномъ политическомъ преступникѣ. Онъ добивается свиданія съ сосѣдомъ, другимъ политическимъ преступникомъ.

— Какая твоя вѣра? — спрашиваетъ раскольникъ у сосѣда.— За что повѣсили твоего товарища?

Тотъ излагаетъ свои политическія убѣжденія, но раскольникъ не понимаетъ его, и они расстаются не понимая другъ друга.

Сцена въ другой камерѣ, гдѣ политическій преступникъ въ одиночномъ заключеніи. Заключенный чувствуетъ, какъ у него путаются мысли, какъ онъ лишается разсудка.

— Смотритель, смотритель! — кричитъ близкій къ безумію заключенный.

Является смотритель.

— Что вамъ угодно?

— Ничего... Я боюсь!.. Мнѣ дурно!

Смотритель уходитъ, но этотъ крикъ повторяется. Страхъ этого несчастнаго выражается съ такой силой, что, слушая описаніе этого страха, дрожь пробѣгаетъ по тѣлу, и сердце усиленно бьется.

Л. Н. прерываетъ чтеніе. Голосъ его обрывается, и мы мучительно ждемъ. Плачущимъ голосомъ Левъ Николаевичъ продолжаетъ намъ повѣствовать.

Такихъ правдивыхъ, глубокихъ по мысли и по жизненной правдѣ сценъ цѣлый рядъ. Левъ Николаевичъ точно водилъ насъ по тюрьмамъ; открывалъ намъ ка-

меры одиночнаго заключенія и показывалъ живныя картины жизни послѣдняго времени.

## VI.

Левъ Николаевичъ кончилъ, но мы еще сидѣли какъ въ оцѣпенѣннѣхъ. Несмотря на страшное мученіе, испытанное во время чтенія, намъ хотѣлось, чтобы эти страданія продолжались у насъ. Вѣдь эти правдивые образы представляютъ собою въ высоко художественной формѣ исторію духовной жизни народа, который переживаетъ исключительный моментъ.

— Четвертая часть еще не готова, — прервалъ тишину Л. Н.

Было поздно уже, и мы, поднявшись съ мѣста, разошлись, не чувствуя потребности постороннихъ разговоровъ.

— Вотъ что мы получили, — сказалъ В. В., когда мы спустились внизъ.

Его глаза были полны слезъ.

— Ахъ, что мы услышали, что мы услышали! — съ глубокимъ вздохомъ повторилъ В. В.

Я долго не могъ заснуть. Мнѣ мерещились образы тѣхъ несчастныхъ, о которыхъ рассказывалъ Л. Н. Отъ нихъ я перешелъ къ другимъ несчастнымъ, которыхъ я видѣлъ еще такъ недавно на чужбинѣ. Жизнь первыхъ сгораетъ въ тюрьмахъ и крѣпостяхъ, а жизнь изгнанныхъ и бѣжавшихъ за границу тлѣетъ и гаснетъ медленно на свободѣ. Мой сосѣдъ тоже не спалъ. Я слышалъ, какъ онъ ворочается въ постели и часто и тяжело дышитъ.

Рано утромъ голосъ В. В. разбудилъ меня:

— Вы не спите? Вотъ о чемъ я думаю: я ночью плохо спалъ, все думалъ о нашемъ Львѣ. Я хочу сказать, просить, чтобы мы остались еще на одинъ день, Жалко мнѣ уѣхать. Хочу его видѣть и слышать. Уви-

димся ли еще когда-нибудь въ другой разъ? Это, вѣроятно, послѣдній разъ, что я пріѣхалъ.

— Наврядъ ли прочтеть онъ намъ опять,—возразилъ я.

— А можетъ быть, онъ еще скажетъ что-нибудь такое, что такъ важно и интересно?

Осталось намъ нѣсколько часовъ до отъѣзда. Вошелъ лакей и принесъ намъ книги.

— Левъ Николаевичъ проситъ взять ихъ съ собою,—сказалъ онъ.

Мы порѣшили уѣхать; уложились и пошли наверхъ, гдѣ насъ ждалъ Л. Н. Скоро пришла и графиня, которая все еще чувствовала себя скверно. Стали прощаться. Владиміръ Васильевичъ былъ взволнованъ. Онъ говорилъ отрывистыми фразами.

Да, да, больше не увидимся, можетъ быть,—со вздохомъ говорилъ онъ, точно про себя.

Я не могъ видѣть, какъ проводить послѣдній моментъ эти друзья, которые въ дѣйствительности, можетъ быть, никогда ужъ больше не увидятся, и отошелъ въ сторону.

— Пріѣзжайте, пріѣзжайте зимою!—закричалъ еще съ лѣстницы Левъ Николаевичъ.

Когда мы выѣхали изъ усадьбы, В. В., глубоко вздохнувъ, сказалъ:

— Жалко, жалко, что мало видѣлся съ нимъ. Но кажется, что мы все-таки во-время уѣхали: графиня больна, да и остальные скоро разѣзжаются. А вотъ гдѣ Л. Н. будетъ лежать,—сказалъ мнѣ грустнымъ голосомъ В. В., указавъ на церквушку, старинную усыпальницу предковъ Л. Н.

Точно въ отвѣтъ на это слышались страшный плачь и рыданіе.

По другую сторону дороги двигалась деревенская похоронная процессія.

---

## Какъ я работалъ въ Ясной Полянѣ.

Въ 1891 году я вылепилъ первую мою статуэтку съ натуры; это былъ Влад. Вас. Стасовъ. Оставшись доволенъ моей работой, Влад. Вас. далъ мнѣ мысль поѣхать къ Л. Н. Толстому и вылепить его статуэтку. Онъ самъ вызвался помочь мнѣ въ этомъ дѣлѣ, и написалъ графинѣ С. А. Толстой, прося переговорить съ Л. Н. и разрѣшить мнѣ пріѣхать въ Ясную Поляну. Скоро послѣдовалъ отвѣтъ отъ С. А.; она согласилась на мой пріѣздъ.

Уѣхавъ я въ Ясную Поляну не совсѣмъ здоровый, притомъ я былъ очень напуганъ предстоящей работой. Мнѣ извѣстно было, что Л. Н. не любитъ позировать, и что съ большимъ трудомъ удалось извѣстному портретисту Крамскому сдѣлать его портретъ.

Съ тяжелымъ чувствомъ я пріѣхалъ въ Ясную Поляну. Не помню, почему я былъ въ дорогѣ двѣ ночи и пріѣхалъ усталый, утомленный на третій день, часамъ къ девяти утра. На большомъ стеклянномъ балконѣ не было никого, кромѣ гувернантки-англичанки, разливавшей чай. Я замѣтилъ въ углу балкона завернутый бюстъ и обрадовался, что, кромѣ меня, кто-то еще работаетъ здѣсь.

Вошелъ Л. Н. Онъ подошелъ ко мнѣ близко, точно наступая на меня, и подавъ мнѣ руку сказалъ:

— Вы—Гинцбургъ, васъ ожидали вчера еще.

Я оробѣлъ, не зная, что сказать, тогда Л. Н., посмотрѣвъ на меня пристально своими умными, пронзительными глазами, мягкимъ голосомъ прибавилъ:

— А глину для работы вы привезли?

Мнѣ показалось, что онъ это сказалъ нарочно, желая вывести меня изъ того смущенія, которое, конечно, не ускользнуло отъ его чуткой души.

— Привезъ, но небольшой кусокъ,—отвѣтилъ я весело, почувствовавъ его доброе, сердечное отношеніе. Мнѣ сдѣлалось легко, точно камень, который всю дорогу меня давилъ, разомъ свалился. Я показалъ Л. Н. кусокъ глины.

— Мало, мало—этого не хватитъ. Какъ же вы приѣзжаете, и не привезли побольше глины. Впрочемъ, я знаю въ полѣ одно мѣсто, гдѣ прекрасная глина; послѣ обѣда я васъ свезу туда, и мы накопаетъ много глины, а пока отдохните, наливайте себѣ сами кофе или чай, что хотите. Сказалъ Л. Н., торопливо допивая свой кофе стоя у стола. Задавъ мнѣ еще нѣсколько вопросовъ о здоровьѣ В. В. Стасова, Л. Н. удалился.

Пришелъ И. Е. Рѣпинъ, и я очень обрадовался, увидавъ здѣсь стараго, хорошаго знакомаго. Онъ показалъ мнѣ начатый бюстъ Л. Н., который онъ работаетъ по вечерамъ.

— А вотъ сейчасъ я пойду писать Л. Н. въ его рабочей комнатѣ; пойдемте вмѣстѣ. Вы начнете статуетку его, хотите?

— Я усталъ съ дороги и голова болитъ,—пробовалъ я отказываться.

— Смотрите, не откладывайте,—настаиваетъ И. Е.— Вы знаете, гдѣ мы теперь находимся? Вѣдь мы на четвертомъ бастіонѣ.

Я послушался И. Е. и пошелъ за нимъ.

Л. Н. уже сидѣлъ въ своей комнатѣ у окна и писалъ. Меня поразила обстановка, среди которой работалъ Л. Н. Старинный подвалъ напоминалъ средневѣковую

келью схимника. Сводчатый потолокъ, желѣзныя рѣшетки въ окнахъ, старинная мебель, кольца на потолокъ, коса, пила,—все это имѣло какой-то таинственный видъ. Самъ Л. Н., въ бѣлой блузѣ, сидитъ, поджавъ ногу, на низенькомъ ящикѣ, покрытомъ коврикомъ, напоминающаго какого-то сказочнаго волшебника. Онъ удивленно на насъ посмотрѣлъ, когда мы вошли, и сказалъ:

— Работать пришли? Прекрасно. Такъ ли я сижу?

Стали мы устраиваться. Я усѣлся возлѣ И. Е., который уже кончилъ свою работу. Меня восхитила эта работа: обстановка комнаты, свѣтъ, падающій изъ окна, да и сама фигура Л. Н. написаны съ удивительною правдивостью и художественностью (картина эта находится въ Третьяковской галлерей).

Признаться, мнѣ очень трудно было работать; боязнь сдѣлать шумъ заставляла меня сидѣть на одномъ мѣстѣ и не шевелиться, а между тѣмъ, для круглой статуэтки необходимо двигаться и наблюдать натуру съ разныхъ сторонъ. Мнѣ казалось, что наше присутствіе стѣсняетъ Л. Н.; временами, бывало, Л. Н. отрывался отъ работы: онъ вопросительно на насъ смотрѣлъ, вѣроятно, забывая, почему мы возлѣ него сидимъ.

— Я вамъ мѣшаю?—говорилъ онъ, увидавъ наши работы.

— Охъ, нѣтъ,—отвѣчалъ И. Е.,—это мы вамъ мѣшаемъ.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Л. Н.,—только я забываю, что вы меня пишете, и оттого, кажется, мѣняю позу; у меня такое чувство, точно меня стригутъ.

Не смотря на всѣ неудобства, я, однако, успѣлъ въ первомъ сеансѣ кое-что сдѣлать, и радъ былъ, что работа уже начата.

Послѣ обѣда Л. Н. пошелъ съ нами въ поле и указалъ мѣсто, гдѣ находится глина. Вмѣстѣ съ нами, онъ копалъ эту глину, и мы привезли домой цѣлый мѣшокъ. Дѣти Л. Н., Андрей и Михаилъ Львовичи, разу-



лись и цѣлый день мѣсили эту глину. Черезъ день глина была готова, и я принялся за работу: Работалъ я одновременно съ И. Е., у котораго бюстъ былъ уже значительно подвинуть въ работѣ. Сеансы происходили на большомъ балконѣ, днемъ, послѣ обѣда.

Я началъ очень большой бюстъ, и размѣръ бюста всѣхъ смущалъ; находили, что это некрасиво, но И. Е. сказалъ мнѣ:

— Ничего не мѣняйте,—размѣръ прекрасный; надо, чтобы остался большой бюстъ Л. Н.

Во время сеансовъ кто-нибудь изъ домашнихъ читалъ вслухъ; помню, что читалась тогда біографія Спинозы, и Л. Н. съ особеннымъ интересомъ слушалъ и дѣлалъ замѣчанія, а когда потомъ читали „Тружениковъ моря“ Виктора Гюго, то Л. Н. расплакался.

Иногда на балконѣ собирались гости, и велись разговоры и споры. Съ особеннымъ интересомъ всѣ слѣдили за ходомъ нашихъ работъ, сравнивали ихъ. Центромъ всего, конечно, былъ Л. Н.; все, что говорилось, казалось мнѣ, говорилось для него и ради него. Такимъ образомъ, мы два раза въ день работали: утромъ въ кабинетѣ, а днемъ на балконѣ. Бывало, что Л. Н. уставалъ, и С. А. жаловалась на насъ.

— Левушка, тебя, кажется, художники замучать,—говорила она ему,—ты отъ нихъ очень усталъ.

Признаться, мы дѣйствительно преслѣдовали тогда Л. Н. и, кромѣ сеансовъ, мы все его наблюдали; онъ это замѣчалъ, и это стѣсняло его. Въ особенности много занимался имъ И. Е.: онъ вездѣ его зачерчивалъ. Мнѣ совѣстно было помимо сеансовъ беспокоить Л. Н., и я въ свободное время рисовалъ обстановку его рабочей комнаты, домъ и окрестности Ясной Поляны.

Л. Н. тогда писалъ „Царствіе Божіе внутри насъ“ и въ разговорахъ онъ все касался тѣхъ вопросовъ, которые онъ излагалъ въ этомъ сочиненіи. Но бывало, что со мною онъ говорилъ объ искусствѣ; въ особен-

ности мнѣ памятенъ одинъ разговоръ, во время гулянья. Онъ меня спрашивалъ объ академіи, которая тогда только-что обновилась новымъ составомъ профессоровъ. Его интересовала роль передвижниковъ.

— Вѣдь Вл. Вас. Стасовъ всегда ратовалъ за передвижниковъ и старую академію очень ругалъ; почему онъ теперь противъ вступленія передвижниковъ въ академію?

Я рассказалъ тогда Л. Н. всю исторію новой академіи и взгляды Вл. Вас. Стасова на то, что талантливымъ художникамъ не слѣдуетъ итти въ педагоги.

— Что же, пожалуй, онъ правъ,—сказалъ Л. Н.

Отъ частнаго вопроса объ академіи мы перешли къ болѣе общимъ вопросамъ объ искусствѣ и о скульптурѣ.

— Вы меня извините,—сказалъ Л. Н.,— вотъ вы скульпторъ, а я скульпторовъ не люблю, и не люблю ихъ потому, что они принесли много вреда искусству и людямъ; они занимаются тѣмъ, что вредно. Они поставили во всей Европѣ памятники, хвалебные монументы людямъ, которые были недостойны и вредны человечеству. Всѣ эти полководцы, военачальники, правители и др. только одно зло дѣлали народу; а скульпторы ихъ воспѣвали, какъ благодѣтелей. Но главная неправда та, что, увѣковѣчивая ихъ, скульпторы представляли многихъ изъ нихъ не въ томъ видѣ, въ какомъ они на самомъ дѣлѣ были. Людей слабыхъ, выродившихся и трусливыхъ они представляли всегда героями, сильными и великими; человека малаго роста, рахитичнаго, они представляли великаномъ съ выпяченною грудью и быстрыми глазами—все это ложь и неправда. Скульпторы находились на жалованьи у сильныхъ міра сего и угождали имъ. Такого позора въ такой степени мы не видимъ ни въ одномъ искусствѣ.

Однако на нашихъ сеансахъ, замѣтилъ я, Л. Н. увлекался скульптурою: онъ очень внимательно слѣдилъ за ходомъ нашихъ работъ и часто дѣлалъ замѣчанія.

„Кажется, очень хорошо“ часто говорилъ онъ И. Е. послѣ сеанса. Не знаю, что еще будете дѣлать, даже кислоту передали. А разъ, во время какого-то чтенія, Л. Н. попросилъ у меня воскъ и, глядя на меня, вылѣпилъ мой бюстикъ. Меня поразило, что онъ вѣрно и характерно схватилъ общую форму моей головы.

Вторую статуэтку я вылѣпилъ въ 1897 году. Я тогда былъ одинъ въ Ясной Полянѣ. Л. Н. былъ очень занятъ, и мнѣ совѣстно было просить его позировать, но Татьяна Львовна, очень любившая искусство (она сама писала красками), просила за меня отца. Сперва я вылѣпилъ по карточкамъ, которыя нарочно для меня сняла С. А. съ разныхъ сторонъ,—статуэтку, и, когда я ее показалъ Л. Н., то онъ сталъ мнѣ позировать. Работали мы въ мастерской Татьяны Львовны, которая находилась въ деревянномъ флигелѣ возлѣ конюшенъ. Часто Татьяна Львовна читала вслухъ тѣ вещи, которыя нужны были Л. Н. (онъ тогда писалъ „Что такое искусство?“). Кромѣ Татьяны Львовны почти никто не бывалъ въ мастерской, и работать было очень удобно; только одинъ разъ намъ помѣшали, и это былъ особенно характерный случай.

Какъ-то разъ, во время работы, пришелъ слуга и доложилъ Л. Н., что какія-то барышни пришли изъ Тулы и хотятъ его видѣть.

— Для чего?—спрашиваетъ Л. Н.

— Такъ, посмотрѣть,—отвѣчаетъ слуга, вѣроятно, уже не въ первый разъ докладывающій о подобныхъ случаяхъ.—Нарочно изъ Тулы пришли,—прибавляетъ меланхолически слуга.

— Охъ, какъ это скучно,—сказалъ съ грустью Л. Н.,—дѣлать нечего, попроси ихъ. Вотъ вы увидите любопытныхъ; это ужасно, какъ онѣ меня беспокоятъ! Имъ ничего не нужно, кромѣ того, чтобы на меня посмотреть,—обратился ко мнѣ Л. Н.

И какую-то неловкость почувствовалъ я за него.

Вошли четыре молодые барышни и остановились у дверей.

— Здравствуйте, сказалъ Л. Н.,—откуда вы?

— Изъ Тулы,—отвѣтили онъ тихо и смущенно.

— А что вамъ угодно, можетъ-быть, хотите меня спросить кое-что?

Дѣвицы молчать.

— А вы читали мои вещи?—спрашиваетъ Л. Н.

— Нѣкоторыя читали,—отвѣчаетъ вполголоса одна дѣвица.

— А вотъ мои рассказы?

Онъ назвалъ нѣкоторые.

— Нѣтъ,—отвѣчали онъ точно въ испугѣ.

— Такъ вотъ, я вамъ нѣкоторые рассказы дамъ...

Дѣвицы все еще стоятъ, не шевелясь и глазами уставившись на Л. Н. Мнѣ неловко стало за Л. Н. и за себя, и за этихъ растерявшихся гостей, и я, вмѣсто того, чтобы продолжать работать, сталъ возиться со своими инструментами, дѣлая видъ, что подготавливаю къ работѣ. Долго мы были всѣ въ такомъ состояніи, я даже боялся посмотрѣть на Л. Н. Наконецъ Л. Н. сказалъ:

— Вотъ мой слуга вамъ дастъ нѣсколько книжекъ, моихъ, пойдите и скажите ему, чтобы онъ выбралъ то, что вамъ понравится, а пока прощайте.

Дѣвицы ушли молча.

— Вотъ видите, какія любопытныя; такія часто у меня бываютъ,—сказалъ Л. Н., свободно вздохнувъ.

Впослѣдствіи Л. Н. рассказалъ мнѣ случай, который до того курьезенъ и характеренъ, что считаю не лишнимъ его передать. Со свойственной Льву Николаевичу простотой и образностью, онъ рассказалъ слѣдующее:

— Разъ я получаю длинную телеграмму отъ какого-то неизвѣстнаго изъ Москвы; онъ называетъ моихъ друзей, которые его знаютъ, и проситъ позволить ему пріѣхать, чтобы меня повидать, такъ какъ всѣ досто-

примѣчательности онъ уже видѣлъ. Я былъ очень занятъ и отвѣтилъ, что не могу его принять. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ мы переѣхали въ Хамовники. Я вдругъ вижу изъ окна, какъ подъѣзжаетъ парадная тройка и выскакиваетъ щегольски одѣтый господинъ. Докладываетъ онъ о себѣ, и я вспоминаю, что это тотъ же господинъ, который лѣтомъ прислалъ мнѣ телеграмму; мнѣ совѣстно стало, что я тогда его не принялъ, и я велю просить его ввойти. Передо мною предсталъ франтъ во фракѣ и бѣломъ гастукѣ; онъ расшаркался и сказалъ, что объѣдивъ весь міръ и видѣвъ все замѣчательное, хочетъ повидать меня.

— А кто вы такой?—спрашиваю я.

— Представитель фирмы „Одоль“. Моя главная специальность, это—реклама. Дѣло огромное: для одной Россіи я трачу 200 тысячъ рублей въ годъ на рекламу.

— А что вамъ нужно отъ меня?—спросилъ я.

— Только васъ повидать, а то стыдно, что я весь свѣтъ видѣлъ, а Толстого не видалъ.

Я сказалъ, что мнѣ крайне некогда и что я долженъ работать. На прощанье онъ вдругъ предлагаетъ мнѣ два флакона „Одоля“ въ двухъ роскошныхъ футлярахъ.

— Это прошу принять въ подарокъ вамъ и вашей женѣ.

— Зачѣмъ мнѣ это,—сказалъ я,—вѣдь у меня зубовъ нѣтъ и чистить нечего,—и отдалъ ему обратно этотъ подарокъ. Потомъ оказалось, что онъ все-таки оставилъ ихъ въ передней. Прошла зима,—мы опять въ Ясной; и слышу разъ бубенчики, вижу богатую тройку. Я совсѣмъ забылъ о немъ, но, выйдя послѣ работы въ садъ, я вижу: опять этотъ франтъ сидитъ въ саду и разговаривается съ Соней. Меня это такъ удивило, что я прямо подошелъ къ нему и спросилъ, что ему нужно. Опять онъ началъ говорить мнѣ комплименты, и на этотъ разъ, какъ старый знакомый. Меня это такъ возмутило, что я сказалъ ему:

— Знаете, напрасно вы къ намъ прїѣзжаете, вы меня беспокоите.

Онъ раскланялся любезно и уѣхалъ.

— Да,—сказала Софья Андреевна, которая присутствовала при разсказѣ,—Левушка былъ слишкомъ рѣзокъ. Меня такъ удивила твоя рѣзкость. Никогда ты не бываешь такимъ,—обратилась она къ нему.

И дѣйствительно мнѣ никогда не приходилось видѣть, чтобы Л. Н. въ разговорѣ съ посѣтителями-просителями высказывалъ какую-нибудь рѣзкость, онъ терпѣливо всегда выслушивалъ такія просьбы, которыя бывали рѣзки, настойчивы и нелѣпы и никогда не раздражался.

Третью статуэтку я сдѣлалъ въ 1903 году, въ августѣ мѣсяцѣ. Я тогда былъ въ Ясной Полянѣ съ Влад. Вас. Стасовымъ. Левъ Николаевичъ только-что оправился послѣ тяжелой болѣзни, которую онъ перенесъ зимою. Я не думалъ, что удастся что-нибудь лѣпить на этотъ разъ, не хотѣлось беспокоить Л. Н. Но разъ какъ-то, разсматривая коллекціи фотографій, сдѣланныхъ съ Л. Н. графиней Софьей Андреевной, я былъ пораженъ двумя фотографіями, на которыхъ Л. Н. былъ представленъ въ кругу своей семьи, сидящимъ въ креслѣ, въ обычной своей позѣ. Фотографіи показались мнѣ такими удачными, что я задумалъ сдѣлать по нимъ набросокъ и попросилъ ихъ у графини на нѣкоторое время. И вотъ въ то время, какъ мой сосѣдь Вл. Вас. Стасовъ былъ очень занятъ писаніемъ, набросалъ статуэтку Л. Н. по фотографіямъ и по памяти. А вечеромъ, въ то время, какъ Влад. Вас. бесѣдовалъ съ Л. Н., я отправился къ себѣ въ комнату и, отрѣзавъ голову со статуэтки Л. Н., наткнулъ ее на палочку и принесъ наверхъ, гдѣ сталъ ее доканчивать, глядя на Л. Н.

— Что вы тамъ дѣлаете?—спросилъ Л. Н., отъ взора котораго не ускользаетъ ничто изъ того, что дѣлается вокругъ него. Я показалъ.

— Ужъ вы меня знаете, кажется, наизусть сумѣли бы меня вытѣпить, и Л. Н. болѣе не стѣснялся моихъ наблюденій.

Однако мнѣ не пришлось работать эту статуэтку по натурѣ. Мнѣ не хотѣлось беспокоить Л. Н., и я ограничился только зачерчиваніемъ его съ натуры, а потомъ часто работалъ по впечатлѣнію, наблюдая, какъ сидѣлъ Л. Н. Впрочемъ, одинъ сеансъ, и довольно долгій, далъ мнѣ Л. Н., но я самъ плохо имъ воспользовался, и вотъ по какой причинѣ.

Влад. Вас. Стасовъ просилъ Л. Н., чтобы онъ на прощаніе прочелъ намъ кое-что изъ его новыхъ произведеній, что еще не было въ печати. Л. Н. согласился, и тутъ же, назначивъ вечеръ, обратился ко мнѣ и сказалъ:

— А вотъ вы въ это время лѣпите статуэтку, когда я буду читать. Я обрадовался этому, хотя зналъ, что Л. Н. во время чтенія, вѣроятно, будетъ сидѣть не въ такой позѣ, какъ у меня намѣчено уже.

Чтеніе почему-то происходило не какъ обыкновенно, въ большомъ залѣ, а въ одной изъ комнатъ С. А. Комната очень уютная и красивая (тамъ висятъ портреты работы Крамского, Сѣрова и Рѣпина), но небольшая и не могла вмѣстить въ себѣ всѣхъ слушателей,—нѣкоторымъ пришлось усѣсться у самыхъ дверей. Я долженъ былъ помѣститься недалеко отъ Л. Н. Это было слишкомъ близко, и я не видѣлъ всей фигуры Л. Н., притомъ лампа съ абажуромъ бросала слишкомъ большія тѣни на тѣ мѣста, которыя болѣе всего слѣдовало мнѣ провѣрить по натурѣ. Но я рѣшился хоть кое-какъ воспользоваться сеансомъ и приготовился къ работѣ.

Л. Н. началъ читать. Это былъ рассказъ изъ столичной жизни военной среды при Николаѣ Павловичѣ. Описывается великосвѣтскій балъ, и Л. Н., со свойственнымъ ему мастерствомъ и художественностью, открываетъ передъ нашими глазами изумительную кар-

тину бала, и мы точно видимъ эту освѣщенную залу, слышимъ разговоръ танцующихъ и чувствуемъ настроеніе родителей и тѣхъ гостей, которые слѣдятъ за танцующими, — ничто не ускользаетъ отъ взора безпощаднаго художника, который намъ все показываетъ съ невѣроятной ясностью. Слущая его чтеніе, мнѣ представилась картина бала Ад. Менцеля въ Потсдамѣ, и иллюзія отъ видѣннаго такъ велика, что я дѣлаюсь невнимателенъ къ своей работѣ, не вижу статуэтки и чувствую, что я точно гдѣ-то въ другомъ мѣстѣ. Л. Н. замѣчаетъ мою разсѣянность и вопросительно на меня смотреть, точно укоряетъ за то, что я не работаю; я дѣлаю видъ, что продолжаю работать.

Л. Н. подробно останавливается на танцующихъ: молодой барышнѣ красавицѣ, ея отцѣ, эlegantномъ, любезномъ офицерѣ и молодомъ человѣкѣ, который ухаживаетъ за барышней, — мы слышимъ разговоръ молодыхъ людей, видимъ, какъ молодой человѣкъ все болѣе и болѣе увлекается и въ концѣ бала окончательно влюбленъ. Всѣ раздвѣжаются по домамъ, но молодой человѣкъ бродитъ по улицамъ, мечтаетъ, вспоминаетъ свою богиню и фантазируетъ насчетъ будущаго счастья, какъ онъ скоро опять ее увидитъ. Поэтическое настроеніе такъ психологически вѣрно передано и съ такою подробностью, что, кажется, Л. Н. сочувствуетъ увлеченію молодого человѣка. Мнѣ дѣлается смѣшно, и я замѣтилъ, что всѣ мои сосѣди улыбаются, всѣмъ какъ-то странно, что Л. Н. такъ долго останавливается на любви молодого человѣка.

Но вдругъ Л. Н. дѣлаетъ неожиданный поворотъ, точно послѣ тихой поэтической мелодіи, онъ разомъ ударилъ въ барабанъ, и мы всѣ вздрогнули. Молодой человѣкъ, бродя по улицамъ, усталый и мечтающій, наталкивается вдругъ на страшную сцену. Прогоняютъ сквозь строй провинившагося солдата. Л. Н., не давъ молодому человѣку отдохнуть и очнуться отъ сладкихъ



впечатлѣній бала и ночной тишины, ведетъ его и насъ на плацъ, гдѣ собрана большая толпа, толпа совершенно особенная. Мы видимъ нѣчто ужасное; слышимъ свистъ, стоны; видимъ доктора, свидѣтельствующаго истязуемаго человѣка; слышимъ распоряженія и крикъ разъяреннаго, озвѣрѣвшаго офицера, того самого офицера, который наканунѣ такъ мило танцевалъ, который и теперь чертами лица, своими жестами сильно напоминаетъ красавицу-дочь, сладкую мечту молодого человѣка.

Я, конечно, бросилъ работу. На этотъ разъ не одни глаза мѣшали мнѣ работать; руки мои дрожали, и я боялся, что, дотрогиваясь до статуэтки, я сомну ее.

Статуэтка эта такъ и осталась неоконченнымъ наброскомъ. Но она мнѣ дороже другихъ работъ; она живо мнѣ напоминаетъ то время, когда чувство и мысли Л. Н. волновались такъ, что заставили забыть себя, забыть работу.

---

## У Кропоткина.

У меня было письмо къ Петру Алексѣвичу отъ его стараго знакомаго. Городъ Бромлей, въ которомъ живетъ П. А., находится на разстояніи получасовой ѣзды отъ станціи „Victoria Station“, по близости которой я жилъ. Выѣхалъ я рано утромъ, не предупредивъ о моемъ пріѣздѣ.

Крошечный двухъэтажный фасадъ домика П. А-а, втиснутый въ рядъ похожихъ другъ на друга домиковъ, отдѣляется отъ улицы желѣзной рѣшеткой. Дверца рѣшетки была открыта, и я, пройдя небольшой четырехугольный дворикъ, позвонилъ. Прислуга, осторожно открывъ дверь и получивъ мою карточку, скоро вернулась и попросила меня подождать въ пріемной. Это красивая комната съ большимъ окномъ, занимающая почти весь фасадъ дома. Я замѣтилъ на каминѣ бюстъ Бакунина, а на стѣнѣ его же портретъ.

Скоро послышались быстрые шаги по лѣстницѣ. Вошелъ небольшого роста, не крѣпко сложенный старикъ, дружески пожалъ мнѣ руку, просилъ сѣсть и сталъ скороговоркой разспрашивать о томъ лицѣ, отъ котораго у меня было письмо къ нему. Я никогда не видалъ хорошаго портрета К-а. Ему на видъ лѣтъ 65—70, но онъ бодрый, живой и здоровый. Небольшіе, но живые глаза быстро бѣгаютъ, когда онъ говоритъ. Большая, окладистая борода и широкое лицо придаютъ

ему характеръ русскаго купца, но выпуклый огромный лобъ и умные глаза свидѣтельствуютъ о его высокомъ умѣ.

— „Пойдемте лучше наверхъ“, сказалъ онъ, „тутъ холодно. У меня болѣе уютно, мы тамъ побесѣдуемъ“. По миниатюрнымъ деревяннымъ лѣстницамъ, мы поднялись во второй этажъ, въ крошечную комнату, которая вся, буквально, заставлена книгами. Книгами были завалены не только шкапы, столъ и столярный станокъ, но и окна и стулья. Все это были большею частью, книги не переплетенныя. Комната веселая, два небольшихъ окна освѣщаютъ всѣ уголки ея.

Усадивъ меня на стулъ, съ котораго пришлось снять кучу книгъ, онъ самъ усѣлся на низенькомъ диванчикѣ, у стола, и сталъ спрашивать о Петербургѣ, о Россіи и о моемъ путешествіи. Я чувствовалъ, что онъ радъ былъ моему пріѣзду и что мы долго будемъ говорить, и я рѣшилъ не откладывать въ долгій ящикъ то дѣло, которое я, между прочимъ, имѣлъ къ нему. „А знаете, П. А.“, прервалъ я разговоръ, „я вѣдь пріѣхалъ съ намѣреніемъ злоупотреблять вашимъ временемъ и терпѣніемъ: хочу васъ попросить позировать для статуэтки. Я привезъ сюда кусокъ воску“. — „Съ большимъ удовольствіемъ“, отвѣтилъ онъ весело. „Что вамъ нужно? Какъ вы хотите, чтобъ я сидѣлъ? А говорить во время сеанса можно?“ — Началась у насъ возня съ приготовленіемъ къ сеансу. Мнѣ негдѣ было сидѣть, а ему возможно было оставаться только на этомъ низенькомъ диванчикѣ, возлѣ меня. Но главная бѣда была въ томъ, что мой воскъ оказался очень сквернымъ: онъ былъ старый и покрылся твердой корой, такъ что трудно было его размягчить. П. А. побѣждалъ за кипяткомъ, затопилъ каминъ и мы вмѣстѣ стали мять воскъ. При этомъ онъ волновался и суетился и не могъ успокоиться. Мнѣ вспомнился аналогичный случай, какъ я въ первый разъ пріѣхалъ къ

Л. Н. Толстому. У меня тогда не было матеріала для лѣпки, и Л. Н. взялъ лопату, пошелъ со мною въ поле и накопалъ самъ цѣлый мѣшокъ глины. Дѣти Л. Н.—а, Андрей и Михаилъ разулись и цѣлый день мяли эту глину, (это было въ 1891-мъ году).

Наконецъ П. А. устроилъ все и въ ожиданіи работы сталъ со мной разговаривать. „Вотъ такъ и сидите, П. А.,“ сказалъ я, уловивъ моментъ, когда онъ принялъ естественную позу, „попробую въ этой позѣ васъ лѣпить.“—„Нѣтъ, нѣтъ, я долженъ другой сюртукъ одѣть, болѣе парадный.“—Опять какъ живой мальчикъ побѣждалъ онъ внизъ и вернулся переодѣтый. Во время сеанса мы, конечно, много говорили. Я сказалъ, что читалъ нѣкоторыя его вещи и что особенно сильное впечатлѣніе на меня произвели его „Записки“. И сталъ онъ мнѣ рассказывать нѣкоторыя подробности, касающіяся его бѣгства изъ больницы. „Что это былъ за удивительный человѣкъ, какой талантъ, который меня спасъ. Какая смѣлость! Не забуду, какъ былъ я пораженъ, что очутился послѣ тюрьмы у Донона. Меня это больше всего удивило.“—„Вездѣ насъ ищутъ“, сказалъ мой спаситель, „и никому въ голову не придетъ зайти сюда“.

Сколько интереснаго было для меня! Казалось мнѣ, что я встрѣтился съ человѣкомъ, съ которымъ я давно былъ знакомъ, но котораго давно потерялъ изъ виду.

Незамѣтно для насъ пробѣжало нѣсколько часовъ. „Не пора-ли позавтракать!“ вдругъ послышался женскій голосъ.—„А вотъ моя жена“, познакомилъ онъ меня съ нею. „Меня лѣпятъ, посмотри, какъ это любопытно“. Она подошла къ намъ. Мнѣ понравилось доброе, симпатичное лицо ея, уже не молодое, но несущее еще слѣды красоты. Черты лица тонкія, глаза умные и очень добрые. Видно, она была въ молодости очень красива.

„А Саша не пришла еще?“ спросилъ П. А., „надо ее подождать. Вотъ я васъ познакомлю со своей доч-

кой. Славная дѣвочка. Она теперь въ Лондонѣ, бѣдная, волнуется: держать экзаменъ при комиссіи. На дняхъ только она кончила здѣшнюю школу“. И тутъ П. А. рассказалъ мнѣ довольно забавную вещь. „Всѣмъ, конечно, здѣсь извѣстно, что я анархистъ. А вотъ что недавно произошло. На выпускномъ актѣ гимназіи, гдѣ хорошо кончила моя дочка, меня попросили прочесть при торжественной обстановкѣ (тутъ было и начальство, и духовенство, и всѣ родители) напутственное слово, какъ водится, всѣмъ кончающимъ дѣтямъ. Обыкновенно эту традиціонную рѣчь произносятъ духовныя лица или директоръ. И что же? Кажется, остались очень довольны мною, въ особенности дѣти меня благодарили“.—Относительно своего нелегальнаго положенія, онъ рассказалъ мнѣ много любопытнаго и курьезнаго. „Раньше за мной ужасно много слѣдили, и это меня очень угнетало. А теперь, будто оставили меня въ покоѣ. Въ 14 лѣтъ убѣдились, что ничего ужаснаго нѣтъ во мнѣ. Конечно, если я куда-нибудь отлучусь, въ Лондонъ или въ другое мѣсто, то полиція сейчасъ-же засуетится, спрашиваетъ, гдѣ я, но теперь особеннаго надзора за мной нѣтъ. Прежде, какъ увѣряютъ меня, воалѣ моего дома поселился русскій агентъ, прямо противъ моего окна онъ жилъ. Моя дочка, играя съ его дѣтьми, разъ спросила, гдѣ ихъ папа, а они пренаивно отвѣтили: „вѣдь онъ въ полиціи каждый день“. Но отъ времени до времени полиція выдумываетъ глупыя исторіи, иной разъ до смѣшного нелѣпыя. Если гдѣ-нибудь бывало покушеніе или слухъ о покушеніи, то являются ко мнѣ и спрашиваютъ, какого я мнѣнія о томъ, что случилось или что должно случиться. А когда убили императрицу Елизавету, то корреспонденты официальныхъ газетъ являлись ко мнѣ и спрашивали меня, одобряю-ли я это убійство. Чтобы ихъ позлить, я имъ далъ уклончивый отвѣтъ“.

Вспомнилась мнѣ аналогичная исторія, которую рассказалъ мнѣ Пл—въ. Разъ, живя на границѣ Швейцаріи, въ крошечной французской деревушкѣ, онъ былъ удивленъ визитомъ комиссара изъ сосѣдняго французскаго города. Этотъ правительственный чиновникъ, начиная совершенно издалека разговоръ о разныхъ разностяхъ, спрашиваетъ его, знаетъ-ли онъ о прибытіи русской эскадры въ Тулонъ. „Слыхалъ“, отвѣчаетъ удивленно Пл—въ, все не догадываясь, къ чему тотъ ведетъ разговоръ. „А вотъ, какого Вы мнѣнія объ этомъ?“ спрашиваетъ ревностный чиновникъ, забывая, что отъ Тулона до Швейцаріи сотни верстъ.—„Я думаю“, притворяясь наивнымъ, отвѣчаетъ Пл—въ, „что русскіе хорошо сдѣлали, что пріѣхали въ Тулонъ: это укрѣпляетъ ихъ дружбу съ французами“. Этотъ одобрительный отзывъ какъ-бы удовлетворилъ глупаго чиновника и онъ уѣхалъ, точно совершилъ важное дѣло.

„А вотъ и я“. вдругъ зазвучалъ симпатичный голосъ молодой, стройной дѣвочки лѣтъ 16—17, показавшейся въ дверяхъ. „Это моя дочь, Саша“, радостно отрекомендовалъ мнѣ ее П. А.—„А я, кажется, папа, провалилась на экзаменѣ. Провалилась, провалилась! Ахъ, какъ трудно!“ Мнѣ понравилось живое, открытое лицо этой дѣвочки, въ высшей степени симпатичные глаза и голосъ располагали къ ней. Чувствовалась ея откровенность, искренность и полная жизни натура.

Мы спустились завтракать. Опять засуетился П. А. самъ полилъ мнѣ воды на руки и все безпокоился насчетъ работы моей. Завтракали мы въ той комнатѣ нижняго этажа, которая была и пріемной. Говорили о Россіи, о русскихъ писателяхъ. П. А. говорилъ о Л. Н. Толстомъ, котораго онъ высоко цѣнитъ и почитаетъ но его жена особенно хвалила Тургенева; и нѣкоторыя вещи Тургенева она ставитъ выше произведеній Толстого. „Анна Каренина“, сказала она, „помимо своего

подвига любви къ Вронскому ни къ чему въ жизни не была способна. Это женщина пустая, ничтожная, а Толстой точно окружилъ ее ореоломъ. У Тургенева русскія женщины отвѣчаютъ дѣйствительности. Онъ понималъ и описывалъ всю глубину натуры русской женщины“. П. А. согласился съ нею. Поднялся у насъ споръ по этому поводу.

Дочь принимала участіе въ разговорахъ. Оказывается, она много читала, но все на англійскомъ языкѣ. Русскій языкъ хотя она знала, но далеко не въ такой степени какъ англійскій. Смѣшно, но мило было ея русское произношеніе на англійскій ладъ. „А вотъ я хочу ѣхать въ Россію. Мнѣ хочется видѣть Россію, а меня не пускаютъ“, обиженнымъ голосомъ говоритъ она. „Бѣдная дѣвушка“, грустно говоритъ отецъ, „она-то въ чемъ виновата? Въ прошломъ году мы ее хотѣли отправить къ ея родственникамъ въ Россію. Ее тамъ ждали.

— „Ухъ, какъ я была сердита. Какъ я плакала!“ продолжаетъ жаловаться дочка, дѣлая не къ лицу ей идущій сердитый видъ. „Не знаю, что съ ней дѣлать“, говоритъ П. А., „придется ждать совершеннолѣтія и обратить ее въ англійское подданство. Впрочемъ, посмотримъ, что дальше будетъ. Ужъ очень не люблю я англичанъ“. Мнѣ такъ хорошо было среди этихъ добрыхъ, искреннихъ людей, которые мнѣ казались близкими моему сердцу.

Условившись насчетъ слѣдующаго сеанса, я сталъ прощаться. „Я Васъ провожу“, сказалъ П. А., „покажу Вамъ ближайшую дорогу на станцію“.—Не безпокойтесь“, отвѣтилъ я, „я прекрасно знаю теперь дорогу“.

„Нѣтъ, нѣтъ, хочу пройтись съ Вами; поговоримъ еще“, настаиваетъ П. А.

Въ слѣдующіе дни мы еще больше сблизились. Во время сеансовъ П. А. мнѣ рассказывалъ о многихъ важныхъ моментахъ его жизни, какъ онъ жилъ и дѣй-

ствовалъ въ Швейцаріи (въ Choud de Fouer) среди группы анархистовъ, получившихъ свои первоначальныя идеи анархизма отъ Бакунина. „У насъ были собранія; мы издавали газеты и связь была тѣснѣйшая. Жизнь тогда у насъ кипѣла. Насъ стали преслѣдовать, но мы долго держались. Во Франціи насъ судили. Адвокатъ, защищавшій насъ, произвелъ фуроръ своей защитой; многихъ оправдали, но меня и товарища осудили. Пять лѣтъ сидѣлъ я въ Ліонской тюрьмѣ, но тюрьма принесла мнѣ много пользы. Я тогда много работалъ и читалъ“. „А думаю“, сказалъ я, „что съ тѣхъ поръ анархизмъ, идеи анархизма еще болѣе усилились и распространились“.—„О, не скажите“, отвѣтилъ П. А., „анархистовъ теперь меньше. Ихъ очень преслѣдуютъ, а идеи анархизма мало извѣстны. Вѣдь объ анархистахъ думаютъ, что они воры и злодѣи. Правда, теперь много толковъ и отгѣнковъ среди партіи анархистовъ, но общая масса мало знаетъ настоящія идеи анархизма. Вѣдь вотъ и Л. Н. Толстой проповѣдуетъ анархическія идеи, однако онъ не только самъ не убійца и не злодѣй, а исповѣдуетъ идею непротивленія злу. Конечно, и на меня иные смотрятъ, какъ на подстрекателя къ убійствамъ. Недавно представители революціонной партіи одного симпатичнаго угнетеннаго народа пришли ко мнѣ и спрашивали совѣта, слѣдуетъ-ли имъ организовать террористическій комитетъ для того, чтобы дать отпоръ угнетателямъ. Я отсовѣтовалъ; и они послушались меня. Конечно, они хорошо сдѣлали, что послушались, иначе ихъ положеніе еще ухудшилось бы“.

П. А. сталъ говорить о своихъ работахъ. Разсказалъ онъ мнѣ содержаніе своей книги „О взаимопомощи у животныхъ“. „Послѣ Дарвина стали злоупотреблять словами: „борьба за существованіе“, и правящіе классы очень пользуются этимъ закономъ природы для того, чтобы угнетать и насиловать тамъ, гдѣ и нѣтъ борьбы.



А между тѣмъ люди могутъ жить въ согласіи, соблюдая взаимные интересы и сходясь на основаніи общаго блага. Весь государственный строй держится на томъ принципѣ, что масса людская не понимаетъ своихъ интересовъ и что если людей предоставить самимъ себѣ, то они чуть-ли не съѣдятъ другъ друга. Но это неправда, многое до чудовищности преувеличено. У людей и безъ особенной заботы свыше можетъ быть общественная жизнь солидарная и мирная. Вѣдь во всей исторіи, которой насъ учатъ съ дѣтства, пропущены тѣ моменты изъ жизни народовъ, которые были устроены помимо правительствъ, помимо государствъ, а на основаніи оближеній и мудраго знакомства съ обстоятельствами. Въ моей книгѣ я провожу примѣры, факты изъ жизни животнаго міра. У животныхъ существуетъ солидарность и общественный, коммунистическій строй жизни, и если животныя могутъ, соблюдая общіе и частные интересы, не прибѣгать къ унижающимъ законамъ и попеченію надъ отдѣльными группами, то почему-бы и у людей не установить такія отношенія, такое устройство, которое зиждилось бы на довѣріи и солидарности интересовъ. Еще много говорилъ П. А. объ анархизмѣ. И изъ нашихъ разговоровъ, я вынесъ такое впечатлѣніе, что со мною говорить образованнѣйшій человѣкъ, далекій отъ тѣхъ многихъ предразсудковъ, которые въ силу исторически сложившихся взглядовъ на природу и на людей, царствуютъ до сихъ поръ даже среди людей, во многихъ отношеніяхъ уже просвѣтленныхъ. И вотъ этотъ анархистъ мечтаетъ объ установленіи между людьми отношеній не посредствомъ насилія одной наименьшей стороны и равнодушнаго послушанія съ другой, большей стороны, а на основаніи общихъ, разумныхъ, всѣми признанныхъ выгодными и полезными условій жизни. И этотъ разрушитель оказывается философомъ созидателемъ. Онъ мечтаетъ о любви къ ближнему, о любви

созидательной и дѣйствительно разумной. Какое огромное сходство между Кр. и Толстымъ, подумалъ я. И тотъ и другой имѣютъ общую исходную точку зрѣнія объ исторически сложившемся порядкѣ управленія и завѣдыванія людскими дѣлами и отношеніями. Оба вѣруютъ и признаютъ одну и ту же конечную точку: торжество самосознанія каждого отдѣльнаго человѣка, самосознанія, ведущаго къ благому отношенію между людьми на почвѣ согласія и общности интересовъ. Пути къ достиженію блага различны у этихъ философовъ. Одинъ думаетъ водворить личное и общественное благо посредствомъ вѣры, а другой посредствомъ разума и глубокаго изученія свойствъ и законовъ природы.

„А много у васъ теперь друзей осталось отъ вашего прошлаго?“ спросилъ я.—„Мало. Конечно, я поддерживаю сношенія и дружбу съ моими единомышленниками; въ особенности я привязанъ къ Ел. Реклю, я ему многимъ обязанъ. Но многихъ уже нѣтъ на свѣтѣ, а другіе отrekliсь отъ анархизма“. Говоря объ этихъ послѣднихъ, П. А. поминалъ ихъ добромъ и ничего дурного о нихъ не сказалъ. Меня поразило, что послѣ такого огромнаго круга знакомствъ и почитателей П. А. теперь живетъ уединенно и очень бѣдно. Вопросъ о томъ, какъ онъ живетъ, такъ занималъ меня, что я обратился къ нему и спросилъ, хорошій-ли доходъ приносятъ ему его сочиненія. „Очень скудный“, отвѣтилъ онъ. „Вотъ, на примѣръ, хоть мои „Записки“, которыя имѣютъ большое распространеніе и переведены на многіе языки: почему-то я отъ нихъ ничего не получаю почти; издатели видно, обходятся безъ меня. Мнѣ трудно слѣдить за распространеніемъ моихъ изданій“.—„Съ чего же вы живете?“ вырвался у меня съ горечью нескромный вопросъ.—„А вотъ, перебиваюсь статьями учеными для энциклопедическихъ англійскихъ журналовъ. Работа трудная и неблагодарная, но что дѣлать. Издаемъ тоже и журналъ, который, конечно, ничего не приноситъ.

Четыре раза я прїѣзжалъ въ Бромлей и всякій разъ выносилъ оттуда лучшія впечатлѣнія. Какой я счастливый! подумалъ я, что мнѣ удалось увидѣть еще одного замѣчательнаго русскаго человѣка. Какая радость лично убѣждаться въ томъ, что то, что многими порицается, преслѣдуется, считается зловреднымъ—на самомъ дѣлѣ есть истинное, доброе и хорошее.—Иногда до смѣшного странны были наши разговоры: говоря о Россіи, о русскомъ обществѣ, я, воспитанный и векормленный добрыми русскими людьми, раздраженно, злостно отзывался о нынѣшнемъ русскомъ обществѣ, между тѣмъ какъ этотъ анархистъ, преслѣдуемый своими соотечественниками, „опаснѣйшій врагъ Россіи“, все утѣшалъ меня и о многомъ отзывался мягко и незлобливо.

Несмотря на всѣ неудобства при работѣ статуэтки, я все-таки кое-что успѣлъ сдѣлать и рѣшилъ считать работу оконченной, тѣмъ болѣе, что мнѣ уже немного осталось пожить въ Лондонѣ, и изъ этихъ прїѣздовъ въ Бромлей я много чего еще не успѣлъ повидать.

На прощанье П. А. былъ со мной очень любезенъ. Мы жалѣли, что расстаемся другъ съ другомъ. Онъ подарилъ мнѣ нѣкоторыя свои сочиненія, особенно порекомендовалъ онъ мнѣ прочесть послѣднюю свою книгу „О взаимопомощи животныхъ“.

Мнѣ тяжело было прощаться съ этимъ хорошимъ семействомъ. „Увидимся-ли еще когда-нибудь? Вѣдь я никому въ Россіи не пишу и никто мнѣ оттуда не пишетъ“.

Статуэтку я привезъ въ Лондонъ, и прїятное чувство было все время, когда я ее возилъ съ собой; я оставилъ себѣ хорошую память: она мнѣ живо напоминаетъ все то время, которое я провелъ у него.

## В. В. Стасовъ.

Ровно годъ тому назадъ умеръ Владимиръ Васильевичъ Стасовъ. Значеніе этой крупной личности въ исторіи русскаго искусства такъ велико, что, конечно, за этотъ годъ не могла быть сдѣлана полная оцѣнка его дѣятельности, которая охватила бы великую эпоху русскаго искусства, середину XIX вѣка. Серьезный и глубокій разборъ этой эпохи и ея значенія для культурнаго роста Россіи будетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и полной оцѣнкой дѣятельности В. В. Стасова, который въ созданіи этой эпохи игралъ выдающуюся роль. Владимиръ Васильевичъ — это гигантъ. Чѣмъ дальше отъ него отходишь, тѣмъ цѣльнѣе и виднѣе его фигура.

Мнѣ, какъ современнику, другу и поклоннику В. В. Стасова, хочется только отмѣтить, какъ и при какихъ обстоятельствахъ В. В. Стасовъ боролся за тѣ идеалы въ искусствѣ, которые онъ отстаивалъ.

Но какіе были его идеалы? Не совсѣмъ вѣрно В. В. Стасова называютъ реалистомъ. Это опредѣленіе не вполне исчерпываетъ содержаніе всей глубокой натуры В. В. Стасова. Человѣкъ, который до конца жизни не переставалъ перечитывать Гомера, человѣкъ, который со слезами на глазахъ читалъ нѣкоторые мѣста Виктора Гюго, восторгался Шуманомъ, Бахомъ, Шопеномъ, — скорѣе идеалистъ, чѣмъ реалистъ. И дѣйствительно, его увлекали всякій искренній, высокій порывъ творчества, всякая

талантливая выдумка, всякая поэтическая пѣснь и всякая высокая идея, выражающая любовь къ чело-вѣчеству. Реалистомъ называли Владимира Васильевича потому, что онъ въ свое время ополчался противъ идеализма въ искусствѣ послѣднихъ вѣковъ, — идеа-лизма фальшиваго, притворнаго, основаннаго на под-ражаніи ложно-классицизму. Такой идеализмъ возму-щаль душу В. В. Стасова, полную искренности, прямо-ты и откровенности. В. В. Стасовъ ненавидѣлъ аллегоріи, подражанія отжившимъ формамъ и мыслямъ, все то, что еще въ серединѣ XIX вѣка наполняло всѣ галле-реи, академіи и дворцы. Словомъ, все то, что, начиная съ XVII вѣка, сузило задачи искусства и привело его къ полному упадку.

„Искусство упало съ тѣхъ поръ, какъ оно изъ ори-гинальнаго сдѣлалось подражательнымъ, съ тѣхъ поръ, какъ мѣсто свободныхъ корпорацій заняли корпораціи схоластическія“ писалъ онъ въ 1869 г.

Въ противоположность старому, В. В. ставилъ иде-аломъ въ искусствѣ личность художника, его индиви-дуальность и индивидуальность народа — національ-ность, ибо такъ же, какъ художникъ не можетъ не выражать своей личности, такъ и народъ, общество людей, живущихъ въ одинаковыхъ условіяхъ, не могутъ не выражать особенностей этихъ условій. Итакъ, В. В. былъ прежде всего индивидуалистомъ. Торжество ин-дивидуализма въ художникѣ онъ видѣлъ въ свободѣ личности и ея высокой интеллектуальности, а въ народѣ—въ просвѣщеніи и самостоятельности.

Свои свѣтлыя взгляды на искусство, В. В. прово-дилъ въ своихъ многочисленныхъ статьяхъ и въ сво-ихъ разговорахъ съ художниками. Но при тяжелыхъ обстоятельствахъ приходилось В. В. проводить свои идеи. Живя и дѣйствуя на рубежѣ двухъ эпохъ,— ложно - классицизма, гнѣздившагося тогда еще въ академіяхъ, и новаго, назрѣвающаго индивидуа-

лизма, — ему пришлось бороться на два фронта: съ одной стороны, опровергать старую академическую рутину, а съ другой — провозглашать то новое, что могло, по его мнѣнію, вывести искусство на самостоятельную дорогу. На Западѣ, гдѣ ложно-классицизмъ имѣлъ свою почву, уже раздавались голоса противъ рутины. Но еще громче и яснѣе раздавался голосъ В. В. Стасова, ибо рутина, которая была насаждена у насъ, была еще нелѣпѣе, еще болѣе чужда народной русской жизни. Владиміру Васильевичу приходилось много бороться противъ устарѣвшаго, но еще труднѣе было ему добиться признанія того новаго, что уже назрѣвало, — признанія новыхъ талантовъ. Талантовъ самостоятельныхъ и дѣйствительно оригинальныхъ. И враги В. В. сознаютъ удивительный его даръ отыскивать, угадывать эти таланты. Его опредѣленія таланта съ перваго его появленія бывали до того смѣлы, сильны и вѣрны, что возстановляли противъ него современныхъ ему критиковъ. Стоитъ только прочесть то, что Владиміръ Васильевичъ писалъ 40, 30 и 20 лѣтъ тому назадъ о Глинкѣ, о Мусоргскомъ, Балакиревѣ, Бородинѣ, Римскомъ-Корсаковѣ, Рѣпинѣ, Антокольскомъ, Верещагинѣ, а позднѣе — о Глазуновѣ, Шаляпинѣ и др., чтобы убѣдиться въ пророческой вѣрности того будущаго, которое онъ возвѣщалъ. И за эту вѣрную оцѣнку талантовъ ему доставалось: глумленія и шуткамъ со стороны его враговъ не было конца. Въ особенности отличалось „Новое Время“. Оно не упускало ни одного случая проявленія крупнаго таланта, о которомъ В. В. первый громко заявлялъ, чтобы не поиздѣваться и не смѣшать и Стасова, и отмѣчаемаго имъ художника съ грязью.

Есть положительно какая-то фатальность въ томъ, что какъ только появлялся молодой талантъ, впоследствии, дѣйствительно, признанный, — присяжный критикъ „Новаго Времени“, объявлялъ его ничтожнымъ и

негоднымъ. Нынѣшніе читатели этой газеты не повѣрятъ, что признанные таланты: Мусоргскій, Бородинъ Рѣпинъ, Антокольскій и др., о которыхъ эта же газета теперь пишетъ: „нашъ извѣстный“, „знаменитый“, „даровитый...“, въ началѣ, при появленіи своемъ назывались ею: Рѣпинъ „смазные сапоги“, Мусоргскій— „скрипучая телѣга“, Антокольскій— „бездарный жидъ“ и т. д. Что Третьяковская галлерей—это памятникъ великій, воздвигнутый тѣмъ художникамъ, которые когда-то были осмѣяны и поруганы. Что русская опера, признанная уже и за границею,—составилась преимущественно „кучкистами“, о которыхъ пресловутая газета говорила съ пѣной у рта. Слѣдующій характерный случай рассказалъ мнѣ М. М. Антокольскій. Разъ въ Біаррицѣ онъ встрѣтился съ редакторомъ „Новаго Времени“. Это было въ пятидесятихъ годахъ, когда газета съ особой яростью травила его.

— Маркъ Матвѣичъ, вы здѣсь! Наша слава, наша гордость!—торжественно говоритъ редакторъ.

— Что я слышу? — отвѣчаетъ М. М. — не такъ-то думаетъ обо мнѣ ваша газета. Еще на-дняхъ она меня такъ ругала и поносила.

— Ахъ не придавайте этому значенія, — отвѣчалъ находчивый редакторъ,—у насъ всегда такая привычка: все выдающееся мы должны хаять и хулить, это ужъ наша „русская“ особенность. Въ свое время мы такъ ругали Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Никого не пропускаемъ.

Курьезнѣе всего то, что какъ только пріѣхалъ редакторъ въ Петербургъ, онъ разразился новыми инсинуаціями противъ этой „славы“, этой „гордости“.

Вотъ при какихъ обстоятельствахъ, приходилось Владиміру Васильевичу бороться и отстаивать то, что онъ любилъ и во что онъ вѣрилъ. Только одной горячей любовью къ художнику, къ искусству можно объяснить его неутомимую борьбу за то, что онъ считалъ

правымъ и справедливымъ. Онъ шелъ противъ теченія, ему одному приходилось бороться противъ всѣхъ. Но къ нему не примѣнима пословица: „одинъ въ полѣ не воинъ“. Подобно Руслану, онъ боролся съ мракомъ и съ чудовищами и освободилъ свою красавицу Людмилу—народное искусство. Будетъ мѣняться направленіе въ искусствѣ, будутъ вырабатываться новыя формы, новыя выраженія для него, но то главное, за что боролся В. В. Стасовъ,—любовь къ правдѣ, къ свободѣ,—останется вѣчнымъ.

---



## И. Е. Рѣпинъ.

(По поводу 35-лѣтія его дѣятельности).

Талантъ, который 35 лѣтъ неустанно, не ослабѣвая дѣйствуетъ, который, не повторяясь и не подражая другимъ, даетъ изъ года въ годъ новыя произведенія, полныя оригинальности и характерности, такой талантъ, безспорно, долженъ быть признанъ изъ ряда вонъ выходящимъ. И, дѣйствительно, самыя строгіе критики признаютъ талантъ Рѣпина выдающимся и крупнымъ. Дѣятельность Рѣпина протекала въ различныя, рѣзко отличающіяся другъ отъ друга въ художественномъ отношеніи, эпохи, и, несмотря на глубокое различіе направленій этихъ эпохъ, его работы всегда представляли собой крупное событіе въ искусствѣ. Онѣ всегда были отмѣчаемы обществомъ и художественной критикой. Такъ, въ 60-хъ годахъ старая схоластическая академія, въ которой Рѣпинъ началъ свою дѣятельность, уже признала его талантъ и хорошо оцѣнила его работы. Особенно отличила его программа „Воскрешеніе дочери Іаира“. Въ 70-хъ и 80-хъ гг., въ эпоху реализма и націонализма въ искусствѣ, Рѣпинъ стоялъ во главѣ этого движенія. Его „Бурлаковъ“ можно считать первой крупной картиной изъ народнаго быта, и въ художественномъ мірѣ онъ считался восходящей звѣздой. А въ послѣднія десятилѣтія, подъ вліяніемъ эстетизма съ Запада, когда „переоцѣнка цѣнностей“ перешла въ

обезцѣниваніе талантовъ 60-хъ и 70-хъ гг.,—Рѣпинъ, какъ исключеніе, былъ пощаженъ. Онъ былъ выдѣленъ изъ общей массы и не былъ окончательно развѣчанъ молодыми новаторами. Надъ нимъ не былъ устроенъ тотъ „скорый и правый“ судъ, который теперь чинятъ наши молодые критики времени военно-полевыхъ судовъ. Конечно, во всѣ названныя эпохи встрѣчались критики серьезные, которые находили существенные недостатки въ талантѣ Рѣпина. Въ этомъ отношеніи больше всего сошлись писатели и критики двухъ отдаленныхъ другъ отъ друга эпохъ—академизма и эстетизма. Какъ схоластики-эстетики XVIII и начала XIX в., такъ и ихъ прямые наслѣдники филологи-эстеты конца XIX в., главнымъ образомъ, ставили ему въ вину его тяготѣніе къ современности, къ жизни народа,—то, въ чемъ, впрочемъ, были повинны и величайшіе творцы прошлыхъ временъ, какъ Гомеръ, Скопасъ, Веронезе, Дюреръ, Рембрандтъ и др. Правда, Рѣпинъ въ исканіи выраженія художественной красоты и настроенія не обращался къ старымъ, отжившимъ временамъ, не увлекался ни Діонисомъ, ни Эросомъ, ни Бахусомъ, не подражалъ ни Боттичелли, ни другимъ примитивамъ. Онъ обращался къ тому неисчерпаемому источнику красоты,—къ жизни, который требуетъ отъ художника цѣльнаго, здороваго чувства и постоянного, неослабнаго наблюденія. Но зато, вѣчно наблюдая, постоянно изучая богатую разнообразную природу людей, Рѣпинъ сохранилъ свою оригинальность, никогда не повторялся, никому не подражалъ и не впадалъ въ рутину, какъ многіе другіе высокоталантливые люди. Однако, Рѣпинъ, черпая изъ современной жизни, или, вѣрнѣе, вдохновляясь жизнью, далеко не былъ тѣмъ грубымъ реалистомъ-изобразителемъ „будничности, злободневности“, котораго эстеты-серваторы видятъ во всѣхъ тѣхъ, кто не роется на кладбищахъ давно отжившихъ идей. Нѣтъ, Рѣпинъ, какъ всѣ выдающіеся таланты, могъ найти и

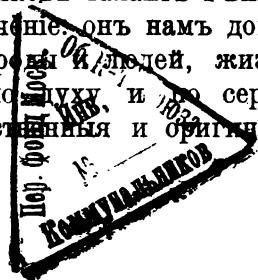
нашелъ идеальное и въ современной жизни. Въ его портретахъ, въ его картинахъ—не одна внѣшняя сторона, не только типъ, не только быть народа, не „мясо“, какъ выразился одинъ остроумный критикъ,—а внутренний обликъ человѣка, его духовный міръ, его преобладающій характеръ, а въ картинахъ—духъ народа, настроеніе толпы,—словомъ, идеаль человѣка, идеаль толпы. И дѣйствительно, портреты Толстого, Спасовича, Бѣляева, Н. В. Стасовой, Герарда, Кюи, Искуль и мн. др. поражаютъ не однимъ только сходствомъ, но и глубокимъ внутреннимъ содержаніемъ. Вся интеллектуальная жизнь человѣка, вся ея духовная сторона передана художникомъ сконцентрированной имъ въ одинъ моментъ. Такъ же въ картинахъ своихъ, Рѣпинъ рисуетъ не одни сухія событія, не констатируетъ факты, не только подмѣчаетъ, но съ глубокой психологіей, въ высоко-художественной формѣ изображаетъ настроеніе массъ, стремленіе толпы къ тому, что представляетъ преобладающую черту народа; изображаетъ событія, которыя въ данное время жизни народа имѣютъ для него преобладающее значеніе,—словомъ, Рѣпинъ—глубокій историкъ. Его картины по содержанію своему поднимаются до Гомеровскаго эпоса. Все важное, что происходило въ жизни народа, въ которомъ Рѣпинъ выросъ и который онъ глубоко изучилъ, все это было Рѣпинымъ отмѣчено. Всѣ духовныя стороны жизни народа за послѣднія сорокъ лѣтъ затронуты имъ, и затронуты такъ, что исчерпывается все, что можно было чувствовать и передать. Такъ имъ изображена сторона бытовая („Бурлаки“), гдѣ каждое отдѣльное лицо представляетъ собой изумительный типъ пролетарія, а все вмѣстѣ—великую драму жизни; сторона народныхъ вѣрованій („Крестный ходъ“), гдѣ толпа, какъ одинъ человѣкъ, чувствуетъ, вѣруетъ по преданіямъ старины; сторона религіозная („Николай Чудотворецъ“), въ которой изображается дѣйствительное воззрѣніе народа

на сверхъестественное; сторона социальнo-политическая („Не ждали“, „Исповѣдь“, „Арестъ“); сторона и бюрократическая („Государственный Совѣтъ“), въ которой переданъ характеръ, жизнь людей, вершащихъ судьбу народа. И всѣ эти стороны переданы въ высоко-художественной формѣ. Художественная красота вездѣ—и въ хоромахъ государственныхъ людей, и въ темницѣ готовящагося къ смерти юноши, и на облитомъ солнцемъ берегу Волги, и въ лѣсу, гдѣ происходитъ драма изъ за человѣческихъ предразсудковъ—„Дуэль“. Меньше всего Рѣпинъ касался прошлаго народа, но тѣ немногія вещи, которыя онъ намъ далъ („Запорожцы“, „Иванъ Грозный“), трактованы такъ оригинально и исторически вѣрно, что не имѣютъ себѣ равныхъ. По таланту своему, по художественнымъ своимъ идеаламъ, по глубинѣ художественной натуры, Рѣпинъ ближе всего подходитъ къ живописцу Александру Иванову (автору „Явленія Христа“ и „Иллюстрацій къ Библии“). То же глубокое изученіе человѣка и толпы, тотъ же прекрасный, строгій рисунокъ, та же оригинальность и высокая индивидуальность натуры, то же исканіе самоусовершенствованія. Только Ивановъ всю жизнь жертвовалъ на изученіе характера и быта еврейскаго народа, а Рѣпинъ—русскаго.

Рѣпинъ—это тотъ Садко, котораго онъ изобразилъ въ одной изъ первыхъ своихъ картинъ: мимо него проходятъ красавицы всѣхъ странъ, въ разныхъ роскошныхъ нарядахъ, но Замарашка—русская красавица, болѣе всего привлекаетъ его вниманіе. Отъ нея онъ не можетъ оторвать свой взоръ. Ее онъ больше всѣхъ знаетъ, ее онъ лучше всѣхъ изучилъ, она ближе его сердцу, и оттого она—лучшій предметъ его творчества.

Большинство картинъ Рѣпина находится въ музеяхъ. Будущій историкъ опредѣлитъ то мѣсто, которое займетъ Рѣпинъ въ исторіи роста русской духов-

ной жизни. Для насъ, современниковъ, для молодыхъ художниковъ талантъ Рѣпина имѣетъ особенно великое значеніе: онъ намъ доказалъ, что глубокое изученіе природы и людей, жизни тѣхъ, кто ближе всего намъ по духу, и по сердцу, можетъ дать высокохудожественныя и оригинальныя произведенія искусства.







**Продается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.**

**Цѣна 75 коп.**

**Складъ изданія въ магазинахъ Т-ва И. Д. Сытина**



YC135997

